



Константин
Зарубин

**КРАСНАЯ КНИГА
УЛИЦЫ МИРА**

Константин Зарубин

**Красная книга улицы
Мира. Повести и рассказы**

«Издательские решения»

Зарубин К.

Красная книга улицы Мира. Повести и рассказы / К. Зарубин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-902650-7

Повести и рассказы, фантастические и не очень, о детстве, любви, надежде и отчаянии в Советском Союзе и Российской Федерации. Кроме заглавной повести, в книгу вошли рассказы «День рожденья муми-мамы», «Пятый канал», «Неутолимый Джо», «Я ехала в СССР», «Моя прекрасная исландка», «Рассказ новогодний, с чудом», повесть «Последнее лето Егора Владленовича» и другие произведения.

ISBN 978-5-44-902650-7

© Зарубин К.
© Издательские решения

Содержание

Красная книга улицы Мира	6
День рождения муми-мамы	29
Неутолимый Джо	35
Конец ознакомительного фрагмента.	42

Красная книга улицы Мира Повести и рассказы

Константин Зарубин

Иллюстратор Наталья Ямщикова

© Константин Зарубин, 2018

© Наталья Ямщикова, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-2650-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Красная книга улицы Мира

Олеська

Разница между нами была простая. Мой отец, шахтёр и пьяница, ударил меня ровно один раз за всё детство. Ко мне медсестра тогда пришла – уколы делать от воспаления лёгких. Я занял, в шкафу от неё спрятался, и папа вытащил меня оттуда и дал с размаху по жопе.

Олеськин отец, шахтёр и пьяница, бил их каждый месяц. Олеську бил, Вику бил (её сестру старшую). Мелкого Дрюшу не бил, пока тот не дорос до старшей группы садика. Зато потом, особенно с первого класса, порол его чаще всех, потому что «пацана» надо было из Дрюши сделать.

Тётю Лену, жену, он, само собой, тоже бил, в том числе по спине молотком для отбивания мяса, но это обстоятельство на роль водораздела не годится. Жён у нас на улице Мира так или иначе били все папы, включая моего. Радикальная мысль о том, что поднимать на жену руку вообще нельзя, даже по пьяни, никому не приходила в голову.

Поэтому демаркационную линию проще всего провести по детям. Одних не били, шлёпали разве что слегка. Других бил отец, третьих мать, четвёртых колотили оба родителя. Был ещё вариант, когда порола бабушка, потому что папа уже успел под лаву попасть или за плохо изолированные провода взяться в забое, или утонуть спьяну, а мама тоже спилась – ну, или сбежала с улицы Мира в какой-нибудь Петрозаводск, чтобы с ума не сойти раньше времени. Но у Олеськи была, как говорили, благополучная, полная семья с типовым распределением обязанностей. Крепкие шахтёрские руки ко всем прикладывал отец.

Как-то всё это кошмарно выглядит, когда написано чёрным по белому на гладеньком экране. Вероятно, потому что было кошмаром и на улице Мира, когда происходило.

Надо только не забыть, что мы такими категориями не думали. Олеська мне завидовала, конечно, что меня одна мама лупит, причём рукой, редко тапком, и потом конфеты суёт и варит какао в приступе раскаяния. А я Олеське завидовал, что у неё фломастеры двадцати четырёх цветов и больше программ по телевизору. И все мы завидовали Юльке Соловьёвой, потому что отчим ей личную комнату из кладовки сделал, и потому что они на Чёрное море один раз ездили. Но Юльку зато мама стегала за двойки скакалкой. Однажды разогнала гостей прямо с Юлькиного дня рождения в наказание за не помню что. Одним в одном везёт, другим в другом. Как-то так мы думали.

Подлинное равенство, впрочем, было только в одном месте – в садике номер пять на Тополиной аллее. Туда вся улица Мира ходила. И все, даже самые небитые, огребали тапком или свёрнутым журналом от воспиталки Ирины Робертовны. Она нас ненавидела за то, что муж когда-то заставил её из Риги переехать. Иногда давала по башке, если её имя выговорить не можешь (а почти никто не мог). Но чаще всего была во время тихого часа. Шепнёшь два слова соседней раскладушке – и сразу бум-бум-бум гремят шаги в твоём направлении. Одеяло рывком в сторону, одна огромная рука вжимает твоё тельце в матрас, другая, которая с журналом, наотмашь бьёт по жопе: ррраз, два, три. В этот момент главное было не заорать. Если заорёшь – отхлещет по полной и родителям ещё скажет, что хулиганил во время сна.

В школе равенство кончалось. Там учительницы были разные. Моему классу досталась Жанна Юрьевна, про которую не скажешь особо ни плохого ничего, ни хорошего. Орала много, рамы заставляла мыть (третьеклассек, на втором этаже, без какой-либо страховки). Отправляла к врачу, если «ручку неправильно держишь». Но не была никого. Аню Тереньтеву очень жалела. Та регулярно с синяками приходила в школу, иногда сидеть не могла нормально. Один раз, помню, Жанна Юрьевна расплакалась, пока Аня её обнимала, прижимая к вязаной учительской кофте лицо с кровоподтёком.

Юльке Соловьёвой не повезло. Их класс взяла Туранчокс (настоящего имени честно не помню). Нетрудно догадаться, что Туранчокс была небольшого роста, с жидковатыми чёрными волосами, стянутыми в коровий блин на затылке. У неё, наверное, была какая-нибудь дурацкая судьба несложившаяся, но Юльку и Юлькиных одноклассников эта судьба не интересовала совершенно. Их интересовало, кого Туранчокс бьёт линейкой и ставит лицом к стене сбоку от доски, а кого не бьёт и не ставит.

В отличие от воспиталки Ирины Робертовны, которая ненавидела и стебала всех одинаково, Туранчокс определяла себе любимчиков – примерно четверть класса, причём по каким-то мутным критериям, не очень связанным с успеваемостью. Любимчики не знали, как жётся удар линейки, и никогда не считали бугорки в зелёной краске на стене. Туранчокс на них даже не орала почти. Юлька Соловьёва угодила в любимчики и гордилась этим весь первый класс, но во втором классе стало ясно, что быть любимчиком Туранчокс хуже, чем не быть, потому что три четверти одноклассников тебя ненавидели. После уроков оттягивались на тебе, как могли.

А Олеське повезло. Она попала к Нине Маратовне и всю начальную школу проучилась в советской киносказке про мудрую, спокойную как танк учительницу, которая всё понимает и никогда не повышает голос. Ну, почти никогда. Нина Маратовна тоже была маленькая, вряд ли сильно выше Туранчокс, и тоже собирала свои негустые волосы в бесформенный пучок на затылке, только волосы были седые, не чёрные. Вместо вязаных кофт Нина Маратовна носила мешковатые платья, бордовое и тёмно-серое. Зимой набрасывала на платья синий жакет, который на меня даже тогда нагонял смутную тоску, а сейчас, когда вспоминаю, за горло берёт.

Остальные компоненты Нины Маратовны тоску, наоборот, разгоняли. Особенно её добрая улыбка с металлическим зубом и её речь – мягкая, текучая, прозрачная какая-то. О чём бы Нина Маратовна ни говорила, всегда было впечатление, что она тебе хорошую новость сообщает, которой ты ждал много недель.

Может, я сгущаю розовые краски, потому что в тот месяц, когда Нина Маратовна подменяла у нас Жанну Юрьевну, заболевшую в середине первого класса, она действительно хорошую новость объявила. Все мальчишки той зимой хотели набор для строительства деревянной крепости с пушечками, и шахта №3, которая над нами шефствовала, вдруг привезла в школу сразу десять таких наборов, чтобы первоклашки играли на переменах. Все были в экстазе, кроме сына директрисы, которому этот набор уже достали по блату.

Но я не думаю, что сильно сгущаю. Эйфория от пушечек длилась всего пару дней, наборы утратили статус мечты, и мы их тут же раздербанили и потеряли к ним интерес. А голос Нины Маратовны действовал на нас по-прежнему. Отчётливо помню, как наши девчонки стали выстраиваться у её стола на переменах, и даже некоторые мальчишки, начиная с меня, не убежали играть и драться, а мялись в кабинете, ждали своего шанса рассказать ей что-нибудь:

– Нин Маратна, Нин Маратна, а я, а у меня, а со мной, а я тоже!

Олеськин класс ужасно её ревновал в тот месяц. Их девчонки, когда могли, вообще не отступали от Нины Маратовны ни на шаг. Она перемещалась по коридору, как гусыня во главе выводка чёрно-коричневых гусят в жёлтых и серых колготках. В последний день третьего класса, когда кончилась начальная школа и наступило лето, после которого, перепрыгнув фиктивный четвёртый класс, надо было ходить в корпус для больших, у Олеськи в кабинете стоял безутешный рёв:

– Нин Маратна, мы вас будем навещать! Нин Маратна, мы вас не забудем никогда! Нин Маратна, почему вы т-т-только в на-на-начальных классах ве-ве-ведёте...

Помню, как Олеська пришла на остановку с красными глазищами, мучительно икая. В автобусе её трясло в два раза сильнее, чем обычно трясло на дырявом асфальте, который изображал дорогу от нашей школы до второй остановки (по требованию) на улице Мира. Я

стоял с Олеськой на задней площадке и вёл себя, как настоящий мужчина, то есть бубнил, что всё фигня и ничего страшного, вместо того, чтобы заткнуться.

Но это случилось через целую вечность после Красной книги. Это случилось в конце мая, а май – самый далёкий месяц от сентября, потому что с одной стороны между ним и сентябрём лето, а с другой – учебный год, и они в равной степени бесконечны.

Отмотав бесконечность назад, мы попадаем в сентябрь третьего класса. Это был красивый сентябрь (некрасивых не бывает). В разбухших канавах вдоль улицы Мира плавали жёлтые листья. Солнце временно садилось прямо за вагонетку, которая вытряхивала пустую породу на левый бок Нового терриконика. Без пятнадцати восемь утра на остановке пахло ранними заморозками. Круглые сутки пахло поздними яблоками. Тяжёлые ветви яблонь свисали через забор, и бабушки посылали девочек с ведрами собрать с них весь урожай, пока не пообрывали «цыганята», которых никто никогда не видел.

Где-то в эти дни Нина Маратовна рассказала Олеськиному классу про Красную книгу. На природоведении, скорее всего, хотя кто скажет наверняка – у Нины Маратовны на любых уроках стихийно царил интегрированная модель обучения.

На Земле, рассказала Нина Маратовна, всё больше людей и всё меньше животных. Вот у нас в районе, например, когда-то водились медведи, волки, лисы, лоси, а теперь наш город вырос, люди построили шахты, заводы. Животные ушли, остались только нервные белки в парке за колесом обозрения. Вот Лёша Беззубенко один раз ёжика нашёл в кустах у спортклуба – помните, как мы все Лёше завидовали? (Все посмотрели на Лёшку Беззубенко и засмеялись, а он покраснел от гордости и счастья, всплывшего из памяти.)

Без животных, продолжила Нина Маратовна, без медведей и ёжиков наша страна, весь мир наш был бы совсем другим. Представьте: целый мир – и в нём ни одного больше медведя! Ни одного ёжика! Нигде! Картинки одни остались в учебнике природоведения. (Класс ахнул. Олеська схватилась руками за щеки.) Какой бедный, какой скучный это был бы мир, по сравнению с нашим. А ведь даже в нашем мире столько животных уже исчезло. Морская корова, такая большая, такая добрая, больше не плавает в океане. (У девочек на передних партах заблестели слёзы в глазах.) Птица дронг – очень смешная, очень неуклюжая, совершенно безобидная птица, она на острове жила между Индией и Африкой – эта птица осталась только в сказке, только у Алисы в Стране Чудес, потому что в настоящем мире люди её съели.

К счастью, поспешила успокоить класс Нина Маратовна, ёжиков и бурых медведей ещё много за пределами нашего района. Но их всё равно надо беречь, и ещё больше надо беречь других прекрасных животных, которых совсем мало. Поэтому учёные ходят в экспедиции, следят внимательно, сколько разных животных где осталось, не исчезают ли они. И чтобы люди знали, чтобы каждый из нас знал, каких животных надо беречь больше всего, в нашей стране издают специальную книгу – Красную книгу.

На этих словах Нина Маратовна показала классу первый том второго издания «Красной книги СССР» из школьной библиотеки. Она заговорила о том, как на животных, занесённых в Красную книгу, запрещено охотиться, и что в местах, где они живут, наша страна старается не строить новые шахты и новые заводы. Олеська слушала, но смотрела уже не на доброе лицо Нины Маратовны, объявлявшей хорошую новость о спасении редких животных, а на малиновую обложку с золотыми буквами, тогда ещё новенькую. «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений» – пояснял красивым столбиком золотой курсив слева от названия.

Олеська слышала выражение «Красная книга» раньше, слышала про какие-то «виды, занесённые в Красную книгу», и смутно догадывалась, что эта книга имеет государственную, то есть волшебную, власть, но до того урока не знала, какую власть и над чем. Кто бы мог подумать, что «виды» – это живое? Теперь она поняла, в чём сила Красной книги, и, главное, увидела своими глазами, что эта книга существует не только где-то в Нашей Стране, как Чёр-

ное море, дружба народов и мороженое на палочке, а прямо в руках у Нины Маратовны – так близко, что можно потрогать.

Из-за этой близости государственно-волшебная сила первый раз в жизни показалась Олеське управляемой. Эта сила, подумала Олеська, была примерно как электрический ток, служивший признаком двадцатого века на улице Мира.

Никто никогда не мог толком объяснить Олеське, что такое ток, почему он зажигает люстры и оживляет телевизор, но все знали, откуда он берётся (из Теплоэлектростанции), и управлять им было проще простого: щёлкнул выключателем – и готово. Красная книга работала похожим образом. Нина Маратовна не объяснила, почему сила Красной книги действует на людей, как она заставляет нашу страну не рыть новые шахты в местах проживания медведей, но источник силы был ясен (Учёные в Экспедициях), и почти ясно было, что именно требуется сделать, чтобы защитить этой силой животное. Надо было занести животное в Красную книгу, то есть напечатать его название в окружении научных слов на больших страницах, которые Олеська потом листала на столе у Нины Маратовны всю перемену, то и дело зачитывая редких животных и самые научные слова столпившимся вокруг одноклассникам.

Не думайте, что Олеська была наивной. О нет, она понимала, что аналогия с выключателем не совсем точна. Кто попало, вроде неё или даже Нины Маратовны, не мог занести животное в Красную книгу – это умели только люди, которые печатали книги и жили в Ленинграде. Эти люди, наверное, были как электрики, которые однажды приезжали менять столбы и провода, и на улице Мира больше месяца не было света. Всё это время Олеська собиралась с духом, чтобы спросить электриков о природе тока (они-то уж по-всякому знали), и так и не собралась. Но если бы она встретила людей, печатающих Красную книгу, она бы осмелилась подойти к ним и спросить, потому что они были не как электрики, они-то уж по-всякому не орали и не пахли, как папа с дядей Мишей и дядей Бугром во время пьянки. Они, наоборот, всегда носили свадебные пиджаки, как люди в телевизоре, и говорили «дорогие товарищи» и «добрый вечер».

После уроков Олеська долго представляла, как Нина Маратовна свозит их в Ленинград – в место, где печатают Красную книгу. Во втором классе они один раз ездили в Театр юного зрителя, пять часов туда и пять обратно, Олеську тогда укачало, она наблевала на сиденье «Икаруса», водитель визгливо матерился и заставил её тереть сиденье бензиновой тряпкой, и дома ей дали подзатыльник и сказали, что никуда она больше не поедет, пока не перестанет блевать в автобусах. Но Нина Маратовна пообещала, что поговорит с родителями перед следующей поездкой, и в Олеськиных фантазиях этот разговор уже состоялся. Она приехала в Ленинград к издателям Красной книги, а они как раз издавали новую Красную книгу. У них оставалось место на одной странице, как раз на одно дополнительное животное.

– Может, у вас, ребята, есть на примете хорошее животное? – спрашивали издатели.

Олеське очень нравилось выражение «есть на примете», и она тянула руку и говорила:

– У меня есть на примете очень хорошее животное!

Животное называлось «сохатый». Олеська знала наверняка, что сохатый – редкое животное, потому что дядя Бугор рассказывал папе, что видел в лесу последнего «нормального сохатого» «хер знает когда». При этом сохатого пока точно не было в Красной книге – Олеська проверила по алфавиту. Она никогда не видела фотографий или рисунков сохатого, но, насколько она могла судить, сохатый был как лось, только раза в два больше и величественней, с кустистыми рогами до второго этажа. Наверно, поэтому почти всех сохатых уже перестреляли охотники вроде дяди Бугра. Сохатого надо было обязательно занести в Красную книгу, чтоб его перестали убивать и чтобы в его лесах не строили заводы и шахты.

Перед сном, несмотря на промозглый осенний дождь, Олеська побежала по-большому не в помойное ведро в кладовке, а в сортир на улице. Он стоял между дровяными сараями

и обслуживал все четыре семьи из нашего дома. Там было два очка, разделённых щелястой перегородкой.

На Олеськино счастье, второе очко пустовало. Никто оттуда не кряхтел. Было темно и тихо, только по рубероидной крыше постукивали частые капли. Удостоверившись, что никто её не слышит, Олеська произнесла заветную фразу вслух:

– Сохатый занесён в Красную книгу.

Слова были такие весомые и вкусные, что она сразу же повторила их погромче:

– Сохатый занесён в Красную книгу!

Она повторила их ещё несколько раз, пока машинально комкала и разминала в руках газету «Известия», нарезанную на щедрые восьмушки, и применяла её по главному назначению. Потом она слезла с очка и минут пять стояла молча в пахучей сырой темноте, слушая шум дождя и наблюдая сквозь щёлку в двери, как за белой занавеской в жёлтом прямоугольнике окна хлопочет силуэт тёти Гали Тимохиной.

Тимохины жили в квартире между нашей и Олеськиной, у них был сын, который четыре года спустя жестоко влюбился в Юльку Соловьёву, а ещё через четыре погиб в Чечне, но Олеська не знала ничего о будущем, кроме того, что ей хотелось побыстрее вырасти, уехать в Ленинград и стать человеком, издающим Красную книгу.

Тетрадка

На следующий день Олеська долго караулила подходящий момент. Четвёртым и пятым уроком были труды, их вели другие учителя, и это, с одной стороны, расстраивало Олеськин план, а с другой – давало шанс, потому что если смотаться с трудов пораньше, можно было подловить Нину Маратовну где-нибудь возле учительской и поговорить с ней вообще без одноклассников.

Как на удачу, в тот день у них была не готовка с последующим кормлением мальчиков в стиле «глава семьи пришёл с работы», а кройка и шитьё. Тётя Лена, Олеськина мама, работала в ателье портнихой, брала много халтуры на дом, и всё семейное шитьё и штопанье, от папиных трусов до Дрюшиных распашонок, лежало на дочерях. Вернее, чаще всего на Олеське, потому что Вика свою долю начала спихивать на младшую сестру, едва та научилась относительно крепко держать иголку и ножницы.

В общем, Олеська выполнила задание в два раза быстрее остальных, к началу пятого урока. Трудовичка похвалила её и хотела заставить помогать одноклассникам. Олеська не стала качать права (качание прав никому никогда не помогало ни в школе, ни на улице Мира), она просто наврала на скорую руку, что ей нужно забрать Андрюшу из садика, Вика сегодня не может.

– Меня выпорют иначе, – добавила она для верности.

Трудовичка сдалась. Она не знала, может ли Вика забрать Андрюшу, но знала, каких детей бьют ремнями и скакалками, а каких ладошкой шлёпают. Все учителя это знали, кроме физкультурника Степаныча, для которого все дети были одинаковые: спортивный инвентарь «ребёнок» в наборах по 25—30 штук, размер от малого до крупного. Даже Туранчокс знала, кого дома бьют, хотя ей, кажется, наплевать было.

Улизнув с трудов, Олеська первым делом заглянула в свой кабинет, девятый. Тут ей опять повезло. В девятый не поставили другой класс на пятый урок, а у Нины Маратовны было окно перед продлёнкой. Она сидела за своим столом возле фикуса, думала о болезни мужа и проверяла тетрадки – так же машинально, как Олеська разминала восьмушки газеты «Известия» накануне.

– Олесья? – Нина Маратовна отложила ручку и улыбнулась. – Случилось что-то?

Олеська замотала головой.

– Я передник для мишки сшила первой всех, Майя Григорьевна меня отпустила. Я к вам на секундочку, можно?

Нина Маратовна сказала, что конечно можно. Олеська подошла к ней, поставила на пол портфель и взялась обеими руками за краешек стола, так что на виду остались только два больших пальца, украшенных царапинами, уколами, фломастером и позавчерашней зелёной.

У неё был заготовленный вопрос, но вдруг не нашлось смелости его задать. За спиной Нины Маратовны стоял книжный шкаф со стеклянными дверцами, а в шкафу – четыре шеренги книг с разномастными корешками, и Олеська чувствовала себя голой рядом с этими книгами. Они как будто стыдили её за дурацкую мечту. Всё, что казалось таким сбыточным под стук вечернего дождя, теперь отодвинулось в самую дальнюю даль Нашей Страны, куда-то за озеро Байкал или на Красную площадь.

– Нина Маратовна, – сказала она наконец, разглядывая обгрызенный ноготь у себя на большом пальце. – А где нужно учиться, чтобы издавать книги? Чтоб...

Она набрала в лёгкие много воздуха, покраснела и умолкла, стесняясь продолжать. Зажмурилась даже ненадолго. Это помогло – во мраке слова будто сами выпали из рта:

– ... чтобы вот, ну например, Красную книгу издавать? Про животных? Это в Ленинграде, да? В институте?

Она добавила про Ленинград и институт, чтобы Нина Маратовна не подумала, что она, Олеська, не представляет себе, каких нечеловеческих усилий это требует – стать издателем Красной книги.

– Ты книги хочешь печатать, когда вырастешь? – спросила Нина Маратовна очень серьёзно. – Хочешь в типографии работать, где книги печатают?

Олеська не была уверена, что хочет работать именно в «типографии», но всё же кивнула.

– Да... Вот, например, где Красную книгу – вы которую показывали вчера. Это в Ленинград надо ехать, да?

– Да, в Ленинграде учат на печатников. Но чтобы стать печатником, не обязательно в институте учиться. В Ленинграде есть техникум печати очень хороший, туда можно после восьмого класса пойти.

На этот раз даже сама Нина Маратовна чувствовала, что сообщает хорошую новость. Разумеется, ей слабо верилось, что мечта о карьере печатницы доживёт в Олеськиной голове до восьмого, по-новому девятого, класса. Но ведь хорошо бы, если б дожила. Это была дельная, в меру красивая мечта для лупоглазой чернявой девочки с улицы Мира, которая стояла перед ней в штопаной форме своей старшей сестры.

Нина Маратовна работала в школе тридцать два года, из них двадцать четыре в нашем городе. Она определяла вероятное будущее местных детей с той же лёгкостью, с какой бывалый врач ставит диагноз «внутрибольничная пневмония». Критерий у неё был простой. Те, кого дома не пороли, ещё могли как-то вырваться при удачном стечении обстоятельств. Могли закончить полную среднюю, поступить в институт в Ленинграде, вообще уехать куда-то, помимо армии. А те, кого пороли, вырваться не могли. И удачные обстоятельства, вроде добрых учителей или явных способностей, были этим детям как мёртвому припарки.

Какой-нибудь шибко дотошный товарищ, отличающий причины от корреляций, спросил бы, конечно, а нет ли тут какого третьего фактора, обуславливающего и порку, и будущее. Но Нину Маратовну не волновали третьи факторы. Она видела перед собой ребёнка, который не раз приходил в школу со следами побоев. Девочка дёрганая, неуверенная, плачет непредсказуемо, есть сестра и братик, дома загружена, успеваемость средняя. Техникум печати для неё – самый подходящий свет в конце тоннеля. Там наверняка и стипендия не самая плохая, и общежитие иногородним, и приработок в Ленинграде всегда найдётся. Вон она как шьёт хорошо, вся в мать. Лишь бы старшая девочка тут осталась – тогда эту легче отпустят после восьмого. Тьфу ты, после девятого.

Но Олеська не услышала в словах Нины Маратовны хорошей новости. Её насторожило слово «техникум». У нас же в городе был техникум, и Олеська знала людей, которые в нём учились, – хотя бы ту же маму Юльки Соловьёвой или Димку Авдеева с улицы Девятого мая. Олеська знала, что после техникума не живут в Ленинграде и не говорят «добрый вечер», и свадебные пиджаки надевают только на свадьбу и на похороны.

– Нет, – сказала она с неожиданной решимостью. – Я хочу не печатать, я хочу издавать. Я Красную книгу хочу издавать, как вы показывали вчера.

Она оторвала взгляд от своего ногтя и несколько секунд глядела прямо в лицо Нине Маратовне – храбро, чуть ли не с вызовом.

– Иди-ка сюда, – сказала Нина Маратовна, разворачиваясь на стуле.

Олеська вприпрыжку обогнула стол и прижалась к Нине Маратовне. Та обняла её и стала гладить по голове между толстых чёрных косичек.

– Молодчинка, – сказала Нина Маратовна. – И правильно. И правильно. Так им всем и надо. Поедешь в институт в Ленинграде. Научишься всему, диплом получишь. Будешь Красную книгу издавать.

– Я хочу, чтобы сохатый был в Красной книге, – призналась Олеська в плечо Нины Маратовны. – И вообще, чтобы все животные. Не только редкие.

– И правильно, – сказала Нина Маратовна. – Знаешь что, – она отняла руку от Олеськи и выдвинула средний ящик своего стола. – Давай-ка ты прямо сегодня начнёшь этому делу учиться.

Олеська скосила глаза и увидела, как рука Нины Маратовны вытащила из ящика тетрадь в алой дерматиновой обложке. Тетрадь была самая толстая из возможных, на девяносто шесть листов. Рука Нины Маратовны держала её обратной стороной к Олеське. «Цена 46 коп.» – прочитала Олеська.

– Держи, – сказала Нина Маратовна. Через пару мгновений, когда Олеська отцепилась от её платья и жадно схватила тетрадь обеими руками, она добавила: – Заведёшь свою первую Красную книгу.

Терриконики

До субботы алая тетрадь оставалась абсолютно чистой, если не считать названия. Олеська прямо в кабинете у Нины Маратовны достала линейку (чтобы буквы были как напечатанные) и начертила на обложке:

КРАСНАЯ КНИГА

На этом дело застопорилось. В Красную книгу нельзя было писать что попало. Всё надо было оформлять по правилам, даже когда понарошку, в тетрадке. Олеська понимала, что не знает правил. Два дня она набиралась храбрости, чтобы сходить в школьную библиотеку – Нина Маратовна уже вернула туда настоящую Красную книгу. Олеська хотела переписать в тетрадку все научные слова в правильном порядке, заменив только название животного на «сохатый».

Загвоздка была в том, что библиотека находилась в корпусе для больших. Олеська ни разу в неё не ходила одна, только со всем классом на библиотечные уроки. Она не представляла, как это вообще можно – прийти одной в большую комнату, со всех сторон заставленную книгами, да ещё спрашивать что-то у хмурой усатой женщины, которая охраняла эти книги, да ещё если там старшеклассники. Может, если бы дело касалось чего-то менее сокровенного, Олеська позвала бы за компанию меня (у нас дома стояли взрослые книги в серванте) или

Настю Чеушенко, их отличницу с улицы Маяковского (у неё не было мамы, только немолодой папа-инженер, который даже голос на неё не повышал никогда). Но дело касалось Красной книги.

Пока Олеська искала храбрость, наступили выходные. К выходным у детей с улицы Мира отношение было сложное. По субботам-воскресеньям особенно много пили, особенно громко орали и слушали одну и ту же сторону «Парада солистов эстрады» семь раз подряд. Если погода была плохая, приходилось находиться среди этого всего.

Зато когда и с погодой везло, и с мелкими сидеть не заставляли, можно было гулять весь день. В ту субботу моросило с утра, но к обеду все облака разбежались, потеплело до восемнадцати градусов, от земли пар даже пошёл кое-где. Взрослые поглядывали на свежее небо и говорили о наступающем бабьем лете. Дети высыпали в прогоны, забегали по мосткам, затряслись на великах по обочинам улицы Мира.

Вика с Олеськой на велосипедах не катались. Девочкам их и так-то старались не покупать, а у них в семье Дрюша рос к тому же. Приобретение велика (большого, с верхней перекладиной, для настоящего пацана, годик-другой под рамой поедит, не развалится) было заморожено до его восьмилетия. Олеська почти не обижалась из-за этого. Поступки взрослых не отличались от смены времён года, обижаться на них не имело смысла, ну а в ту субботу ей было вдвойне всё равно. Когда пришла бабушка и спасла её от Дрюши, Олеська стала украдкой запихивать в колготки краешек алой тетради – сначала сзади, потом спереди, потом стало ясно, что тетрадка слишком торчит под платьем, невозможно с ней по улице ходить.

– Ты чё там копаешься? – выглянула из кухни Вика. Она уже собралась идти на огород к восьмикласснице Геле, чтобы слушать волнующие рассказы о Гелиной личной жизни («А я ему отвечаю: „Врать как срать, Пашенька. Давай расстанемся друзьями“»). Олеська обычно за ней волоклась на Гелькин огород, когда пускали.

Олеська вздрогнула и сунула тетрадку обратно в портфель. От испуга к ней пришло вдохновение:

– Я к Насте поеду. Меня Настя позвала уроки у неё делать.

– Чего за Настя такая? – спросила бабушка. – Да стой ты ровно! – она пыталась нахлобучить на Дрюшу вязаную шапку.

– Там теплоoooo! – орал Дрюша.

– Из нашего класса, Настя Чеушенко, – сказала Олеська.

– Еврейка что ли? – ужаснулась бабушка. – Чеушенкина дочка, инженерская?

– Настя не еврейка, – обиделась Олеська. Она не знала ничего о евреях, кроме того, что быть евреем лучше не надо.

– Еврейка в жопе рейка, – лениво задразнилась Вика и тут же получила по уху от отца, вошедшего с улицы.

– За языком своим поганым следи, – сказал отец. – Ещё услышу «жопа» – выпорю.

– Евреи умные, – сказала тётя Лена, не отрываясь от швейной машинки. – Правильно дружишь, дочка. Чтоб к семи дома, пónяла?

В общем, Олеська выбежала на улицу вместе с портфелем. Минут пятнадцать она просто-яла на остановке, жмурясь от солнца и перекидываясь словами с детьми и взрослыми, ходившими вокруг. Когда подошёл автобус, она помахала рукой, заскочила в него и плюхнулась на длинное боковое сиденье у кабины водителя. Ехать в полупустом автобусе было ужасно приятно. На минуту Олеська чуть сама не поверила, что едет к Насте на улицу Маяковского делать уроки.

Она бы и доехала дотуда, если бы в автобусе кто-нибудь знакомый сидел. Погуляла бы, наверное, по тротуару мимо двухэтажных домов с балконами и сануздами и вернулась. Но нет, все пассажиры были с другого конца нашего микрорайона, Олеська знала их только в лицо,

не по имени. Поэтому она спокойно вышла через две остановки, у железнодорожного переезда в конце улицы Горняков. Оттуда быстрее всего было добираться до Старого терриконика.

Нам всем строго запрещали лазить на Старый терриконик (не говоря уже о Новом), и все мы на него забирались рано или поздно. Старый он был в том смысле, что туда щебёнку перестали отгружать лет за семь до Олеськиного рождения. При этом последние рельсы, по которым вагонетка поднималась к отвалу, не разобрали. Даже будочку оператора наверху оставили – с обрезанными проводами и бесполезными тумблерами, которые смачно щёлкали, пока мы их не обломали окончательно. По высоте Старый терриконик был почти с девятиэтажку и довольно крутой местами. Но Олеська знала, что проще всего лезть, где рельсы. Девчонки всегда там ходили, потому что в юбке по щебню много не накарабкаешься. Это мы, пацаны, в штанах и с шилом в заднице, лезли по самому вертикальному склону и ещё камни вниз катали – даже после того, как я Лёшке Беззубенко череп чуть не проломил.

Олеська впервые попала на терриконик как раз в том году, в мае. Семиклассница Геля объявила, что ей для биологии нужно камней набрать с ископаемыми животными. И все девчонки, сидевшие на огороде, полезли за ней искать трилобитов и доисторических раков. Геля обещала показать на терриконике романтическое место, где влюблённые старшего школьного возраста назначали друг другу свидания и «нууу, целовались – назовём это так».

Романтическое место Олеську не впечатлило, оно представляло собой пару брёвен и жалкое кострище в углублении между берёзок и ёлок. Зато всё остальное на терриконике было необыкновенно и прекрасно, как будто находилось где-то далеко в Нашей Стране, а не прямо здесь, над улицей Мира, Горняков и Девятого мая.

Олеське страшно понравились и берёзки с ёлками, растущие на каменном поле, и тёмно-серые кусочки древней живности в щебёнке из глубоких забоев, и, главное, вид – этот огромный, неоглядный вид с любой стороны терриконика. Просто невероятно, сколько всего можно было разглядеть: улицу Маяковского, нашу школу, новый район со всеми новостройками, три шахты, все остальные терриконики, корпуса и трубы заводов, о существовании которых Олеська и не подозревала, а также лес, лес, лес, болото и то, что привело в ступор всех девчонок, оказавшихся наверху впервые, – целую равнину щебёнки за Новым террикоником. Эта каменная равнина без единого дерева тянулась до самого горизонта, по ней ползали крошечные бульдозеры, сновали туда-сюда поезда с породой, и Олеська наконец поняла, откуда взялся бесконечный шершавый вал высотой с двухэтажный дом, в который они с бабушкой однажды уткнулись, когда ходили за грибами.

Потом её, само собой, выпороли за то, что лазила куда нельзя. (Вику выпороли ещё сильнее, до крови, потому что «и младшую с собой затащила».) Пока пороли, Олеська ревела, давилась соплями, клялась, что больше никогда-никогда, но как только боль прошла, она стала планировать новое восхождение. В то лето она забиралась на терриконик ещё дважды, с Лёшкой Беззубенко и какой-то девчонкой с Горняков, и оба раза сошли ей с рук, поскольку ремень отлично развивает способность искренне врать прямо в глаза.

Теперь Олеська задумала подняться на крышу мира одна. Выйдя из автобуса, она перебежала улицу и шмыгнула в кусты за переездом. Там начиналась тропинка, которая виляла в зарослях вдоль железной дороги и выходила к самому крутому склону терриконика.

Оттуда до пологого подъёма быстрее было дойти слева, вернувшись на железнодорожное полотно. Но железная дорога проходила мимо бани. С банного крыльца всё просматривалось насквозь. В субботу был мужской день, всякие дяди Бугры начинали подтягиваться после обеда, а к вечеру к ним присоединялся папа. Олеська боялась, что её засекут и настучат отцу.

Поэтому решила обойти терриконик длинным путём справа. Там тропы не было как таковой, пришлось скакать по камням на краю болота, местами продираясь через камыши и кусты. Олеська несколько раз оступилась, намочила ботинки, разодрала колготки на левой ноге, расшибла правую коленку, руку расцарапала, юбку порвала об кусок железного троса, но не обра-

щала на всё это внимания. Подумала только, уже когда поднималась по шпалам, что зря тащилась в обход. Порка ей теперь светила в любом случае.

Наверху было немножко ветрено и от этого ещё необыкновенней. Жёлтые листья берёзок шелестели и падали на серые камни с бордовым отливом. Огромный сентябрьский мир у Олеськиных ног, казалось, менял цвет прямо на глазах, словно от лучей солнца в нём происходила химическая реакция.

После восхождения очень хотелось пить. Олеська старательно набрала слюны в пересохший рот. Сглотнула. Это то ли помогло, то ли отвлекло от жажды. Она подумала, что пьёт сама себя, и эта мысль почему-то показалась ей очень смешной.

– Я пью сама себя, – прошептала она и захихикала.

Похихикав, Олеська зашагала к противоположному краю терриконика. Очень хотелось посмотреть на вид с лесом и дальними новостройками. В конце концов она дошла дотуда и долго там сидела, подложив под зад портфель, потому что от сидения прямо на камнях с девочками случалось что-то ужасное и неизвестное. Но сначала, где-то посреди терриконика, ей пришла в голову ещё одна забавная мысль. Она остановилась как вкопанная и произнесла новую мысль вслух:

– Олеся занесена в Красную книгу.

Это звучало до того несуразно и многозначительно, что она засмеялась в голос:

– Олеся занесена! Ха-ха-ха... В Красную книгу... Олеся! Ха-ха-ха... Занесена...

Она сняла с плеч портфель, щёлкнула застёжками, достала алую тетрадку и ручку. Затем положила портфель на камни, чтобы поставить на него колени. Расписала ручку об запястье левой руки. Открыла на коленях тетрадку. Заодно открыла рот.

– О-ле-ся... зааа-неее-сеее-на... вэ... Крас-ну-ю... кни-гу... – сказала она, пока заполняла вторую строчку крупным прыгучим почерком. Она написала оба слова с большой буквы: «Красную Книгу». Потому что оба слова были одинаково важные.

– Точка.

Олеська поставила точку. Полюбовалась написанным предложением. Она не любила свой почерк, его все ругали, кроме Нины Маратовны. Но сейчас это было неважно.

«Вика занесена в Красную Книгу», – добавила она, пропустив строчку.

Потом, пропустив ещё одну:

«Андрюша занесён в Красную Книгу».

И ещё через одну:

«Юля занесена в Красную Книгу».

Даже так, через строчку, на странице поместилось много имён с улицы Мира и из Олеськиного класса. И с каждым именем получалось очень смешно, особенно с именем «Лёша» [Беззубенко]. Под конец страницы у Олеськи в животе закололо от смеха.

– Лёша! Ха-ха-ха... Лёша занесён! В Красную книгу!

Моё имя не попало на первую страницу алой тетрадки. Имя Насти Чеушенко тоже. Почему-то Олеська не вспомнила о нас в тот момент.

Порка

Спустившись на землю, Олеська пошла обратно коротким путём, по железной дороге. Теперь ей было всё равно, засекут ли её с крыльца бани. Она несла улики с собой. Можно было, конечно, отмыть самую заметную грязь у колонки подальше от дома и гулять, пока не высохнут ботинки. Но колготки и платье заштопать было нечем.

У переезда она свернула на улицу Горняков, дошла до поворота на Павлика Морозова, свернула, дошла до Девятого мая, остановилась. Подумав, свернула на Девятого мая. Дошла до Авдеевых.

У них, кроме Димки Авдеева, который в техникуме учился, была Светка. На два года старше нас, Викина ровесница, горделиво курноса, с шикарной рыжей косой. Я, когда её видел, всегда бывал ошарашен, как смертный, подглядывший купанье богини Афины, и завидовал Олеське – она хоть и была влюблена в Светку не меньше моего, но могла с ней общаться непринуждённо, потому что Викина сестра. Светка ей даже свои альбомы для рисования показывала с пояснениями. Она в художку ходила.

– Здравсте, а Света дома? – крикнула Олеська с обочины.

– Нету её, – ответила Светкин папа, чинивший забор. – Ушла куда-то к девчонкам.

Олеська развернулась и зашагала обратно. Ну, само собой, Светки дома не было. Само собой, она у Гельки на огороде или вообще в новый район уехала на весь день, к девчонкам из художки. Олеська вернулась на Павлика Морозова, пошла дальше, пересекла безымянный переулок с трансформаторной будкой и сараями, дошла до улицы Мира. Свернула в сторону дома.

На улице Мира Олеську начало трясти. С ней это часто бывало в таких случаях. До улицы Мира порка ещё как будто маячила в будущем, не совсем ясном и потому не совсем страшном, и только после поворота она переезжала на ступеньку вниз, в настоящее, которое уже всюю происходило у Олеськи в голове.

Она пошла по улице Мира, немного ускорив шаг, потому что оттянуть настоящее было всё равно невозможно. По дороге попадались девчонки и мальчишки, пешком и на великах, в том числе я и Гришка Тимохин из квартиры между нашей и Олеськиной. Олеська шла, вцепившись в ляжки портфеля. Не останавливалась, ни с кем не разговаривала. Бросила нам с Гришкой, не глядя в нашу сторону, что ей надо домой. У колонки возле дома стояла тётя Галя Тимохина, набирала воду в железные вёдра, – Олеська на неё тоже не посмотрела. «Здрассть-тётъгаль» – и шмыг по мосткам вдоль забора, пока тётя Галя не принялась задавать вопросы («Олесь, у вас что, школа в субботу?», «Олесь, это кто тебя, не мальчишки наши?»). Олеська знала, что разревётся, если начнёт с кем-нибудь говорить, особенно из взрослых, и тогда ей влетит вдвойне – ещё и за то, что «несчастненькую из себя корчит перед людьми».

Перед тем, как зайти в дом, она сбегала в сортир, чтобы не описаться, когда начнётся. Затем разулась на крыльцах, поставила сырые ботинки на солнышке с края. Прислушалась. Дома гремела Спартакиада по второй программе. Значит, папа точно не ушёл в баню и не выпил пока. Это было хорошо и плохо одновременно. Когда пьяный, он бил больней, но если очень пьяный, то иногда вообще не бил, ему наплевать становилось.

Швейную машинку слышно не было, Дрюшу тоже. Из приоткрытой двери тянуло жареными макаронами и супом из курицы, за которой стояли в четверг. Мама, получается, готовила. Бабушка с Дрюшей ещё не закончила обход всех остальных бабушек.

В прихожей (у них в семье крытую часть крыльца называли «прихожей») Олеська сунула мокрые ноги в тапки. Дверь в кухню была открыта. Несколько секунд Олеська стояла у порога, наблюдая, как булькает на плите источник супно-куриного запаха.

– Вика, ты? – осведомилась мама, не появляясь в Олеськином поле зрения.

– Это я, – сказала Олеська.

– Чё-то ты быстро. Назанимались уже?

Олеська переступила порог. Мама крошила лук, стоя к ней спиной. Олеська осторожно поглядела влево. Из комнаты, где орала Спартакиада, виднелись папины ноги в трениках. Они лежали на диване, одна на другой. Та, что была сверху, ритмично подёргивалась.

– Мам, я упала, – сказала Олеська.

Она знала, что не отделается этой скудной информацией. Но нужно было хоть что-нибудь сказать первой.

Мамина голова повернулась. За ней нехотя развернулось всё тело в застиранном халате и жирном переднике.

– Куда это ты упала?

– В лужу, – сказала Олеська, глядя на стопку посуды под ручкой.

– Пока уроки делала? У Насти Чеушенко?.. Ну-ка покажи.

Нож со стуком упал на разделочную доску. Мама приблизилась, вытирая руки о передник.

– Там камни были, – сказала Олеська. Её взгляд метался по кухне – от ручья к солонке посреди стола, от клеёнки к полочке для спичек, от радио на холодильнике до вентиля на трубе, подававшей газ из баллона. Если бы она верила, что опять сможет наврать и выкрутиться, она бы смотрела маме прямо в лицо. А так у неё не было сил смотреть ни на какую часть мамы. Любая часть казалась отвратительной. Голос, от которого нельзя было отвести уши, казался отвратительней всего.

– Таааак. Таааааак. Упала она. Упала. Куда ты упала? Куда ты упала в хорошем платье? Я во вторник только стирала. Во вторник стирала. И колготки новые. Куда ты упала, я тебя спрашиваю? Я тебя спрашиваю или кого? Колготки ей хорошие по блату взяла на работе. Чтоб носились долго. Чтоб не рвались долго. Куда ты в них упала? Ходила опять? В болото ходила за камышами? В болото ходила опять? Куда ты упала? В хорошем платье. Мне ткань из Таллинна привезли. В болото лазила? Или на терриконики? Глина на юбке. На терриконики, паразитка? Шею себе свернуть хочешь? Шею, паразитка, хочешь себе свернуть?

Что-то было не так. Что-то было настолько не так, что Олеська, успевшая зажмуриться, решила открыть глаза и посмотреть на маму. Мама не смотрела на неё. Она стояла в метре от Олеськи, вполборота к ней, и нависала всем туловищем над пустым местом. Её левая рука, припадочно скрюченная, как лапы военщины на газетных карикатурах, трясла воздух. Правая рука хлестала воздух по щекам.

– ... ещё хорошо, если сдохнешь сразу. Избавишь всех. А если не сдохнешь, ты подумала? Если инвалидность, ты подумала, паразитка? Бревном до конца жизни? Парализует тебя если? Мы за тобой будем ходить? Я буду твоё говно убирать? Сестра будет? Сестра будет говно твоё убирать? Жопу твою вытирать? Парализует – никто за тобой ходить не будет. Сразу в дом инвалидов. Сразу, слышишь меня? Будешь гнить в доме инвалидов. Ты этого хочешь? Этого хочешь? Ты за этим полезла? На терриконики за этим?..

Олеська попятилась от страха. Споткнулась о порог, вскрикнула, чуть не рухнула спиной в прихожую. Мама не услышала её крика. Она продолжала орать на пустое место, всё больше стервенея, как будто та, невидимая Олеська, вела себя самым неправильным образом, то есть пыталась оправдываться или вообще орать в ответ вместо того, чтобы просто реветь и просить прощения.

– Харе вопить, Лен, – в дверях кухни показался отец. – Дальше я с ней поговорю.

Мама разжала скрюченную руку, отпуская воздух. Ладонь, хлеставшая невидимую голову, тоже обмякла, упала на передник. Спина в халате распрямилась.

Олеська взглядела в мамино лицо. Она ни разу не видела мамино лицо в такие секунды, когда передавали эстафету, потому что всегда зажмуривалась или смотрела в пол, или по-собачьи заглядывала в лицо папе, вымаливая прощение. Теперь она увидела, как мамин взгляд изменился, едва отец положил руку на плечо невидимой Олеськи. Бешенство схлынуло, остались просто глаза, припухшие от лука. Мама выглядела растерянно, как будто вышла из автобуса не на той остановке. Она открыла рот, и Олеська испугалась, что мама наконец поняла, что орала на пустое место. Сейчас она повернёт голову, заметит настоящую Олеську, укажет на неё папе.

Но ничего этого не случилось. Мама не издала больше ни звука. Она молча смотрела, как папа уводит пустое место в комнату, ставит его на невидимые коленки возле дивана, выдёргивает ремень из брюк, висящих на спинке стула, снова подходит к дивану, дважды складывает

ремень пополам. Теперь мама выглядела так, словно поняла, что автобус, который привёз её не на ту остановку, больше никогда не вернётся.

Папа размахнулся и стеганул пустоту у дивана. Мама начала жевать нижнюю губу. Её руки бесцельно тёрлись о передник. Телевизор надрывался пуше прежнего – на Спартакиаде кто-то кому-то забил или куда-то прыгнул. Ледяной ужас, сковавший Олеську, внезапно стал другим, горячим ужасом. Олеська отодрала себя от дверной коробки, бросилась на улицу, слетела с крыльца прямо в тапках, отчаянно пошлёпала по мосткам влево, в сторону прогона, по которому как раз пронёсся на новом велике Лёшка Беззубенко.

– Олеська! – крикнул он, затормозив сразу всеми тормозами. – Хочешь, на багажнике покатаю?

Лёшке в том году достали низенькую «Эврику», без верхней перекладины для настоящих мужчин. Он почти не падал с неё и не боялся катать на багажнике.

«Лёша занесён в Красную Книгу», – вспомнила Олеська. Он был занесён в самом низу первой страницы, а она в самом верху.

– Лёшка, ты занесён в Красную книгу, – сказала она, подходя к велосипеду.

– Чё? – не понял Лёшка. – А чё ты с портфелем? Чё грязная вся?

Олеська забралась на багажник, поджала ноги в тапках и вцепилась обеими руками в седло.

– Ниже возмись, за трубку, жопе щекотно, – заёрзал Лёшка.

Олеська послушалась.

– Ща попробую разогнаться, чтоб из прогона выехать, не слезая, – объяснил Лёшка, когда они затряслись по укатанной щебёнке.

– Я на тириконник лазила, – сказала Олеська, улыбаясь в Лёшкину спину. – Я узнала, как заносить в Красную книгу. Про которую Нин Маратна говорила.

– Ааа, – сказал Лёшка, не слушая.

Он изо всех сил крутил педали, готовясь выехать на проезжую часть – её уровень был заметно выше прогона. У него это ещё ни разу не получалось с девчонкой на багажнике.



Сила Красной книги

К следующим выходным Олеська твёрдо знала, что нужно снова лезть на терриконик. На первой странице алой тетради поместились многие, но не поместилось гораздо больше.

Всю неделю Олеська терпела из последних сил. Ей очень хотелось всех заносить в Красную книгу, не дожидаясь терриконика, то есть дома или в школе, или лучше всего в гостях у рыжекосой Светки Авдеевой (она рисовала странные рисунки в альбомах, она бы поняла, пусть её саму и не били почти). Но Олеська боялась истратить зря место в тетради. Может, другой такой не было. Может, без терриконика тетрадь не действовала. А с ним она действовала точно. Это подтверждалось каждый день.

Второе подтверждение пришло в то же воскресенье от Юльки Соловьёвой. Хорошая погода в воскресенье продолжилась, слухи о бабьем лете становились реальностью, мы играли в прятки полдня, а потом в фанты на огороде у Таньки и Дашки Анисимовых. Юлька прибежала около шести вечера, запыхавшаяся и зарёванная, со странным выражением на лице, которое, наверное, было шоком. Мы просто не знали такого понятия – «шок» – и не могли правильно классифицировать.

То, что Юльку на улицу пустили в зарёванном виде, уже само по себе было невиданно. Её мама на Водоканале работала и культурную из себя строила после второго брака, потому что Юлькин отчим был начальником участка на Водоканале. По официальной версии, Юльку никогда не пороли. Её «не выпускали гулять», чтобы она «задумалась о своём поведении». Мы все знали, конечно, что о поведении Юлька задумывается распухшей спиной и задницей, а не выпускают её после порки, чтобы никто на улице Мира не видел, какие некультурные методы воспитания бытуют ещё в начальственном доме Соловьёвых.

Мы и в то воскресенье подумали, что Юльку выстебали, когда она не вышла после обеда. Олеська тоже так решила и поэтому не могла ни водить, ни спрятаться нормально. Она без конца думала о своей Красной книге. Почему тетрадь не защитила Юльку? Ведь Юлька же четвертой была на первой странице.

Неужели сила Красной книги охраняла только владельца тетради? Олеська вспоминала, как накануне вернулась домой второй раз, когда папа уже пить ушёл в баню, и как мама себя вечером вела, словно её, Олеську, выпороли на самом деле.

– И сидит себе спокойненько, не морщится, – отметила мама, когда Олеська села ужинать. – А бру-то было, соплей-то было – туши свет.

Неужели каждый мог занести в Красную книгу только сам себя?

Юлька прекратила Олеськины сомнения. Жутким шёпотом она рассказала нам, что у них стряслось дома.

Как мы и предполагали, у Соловьёвых с утра был скандал. Юлькина мать объявила, что они с отчимом хорошенько подумали, и отчим решил-таки Юльку полноценно удочерить. Соответственно, у неё теперь будет другая фамилия. Юлька ведь на самом деле не Соловьёва была, это на улице Мира её так звали для удобства. А в свидетельстве о рождении и в классном журнале она числилась Вознесенской, по отцу.

Электрик Вознесенский убил приятеля в пьяной драке, когда Юльке было три года. С тех пор никто его на улице Мира не видел, и Юлька не испытывала к нему особых чувств, ей просто фамилия нравилась. Ужасно нравилась. «Юлия Вознесенская» – это так обалденно звучало, даже в устах Туранчокс. С такой фамилией можно было в кино сниматься и особенно стихи писать, как поэт Вознесенский. Наша учительница пения одолжила как-то Юльке на неделю сборник Вознесенского. Юлька переписала себе в потайной блокнот, сколько успела. Стихи были непонятно о чём и нескладные местами, но очень поэтичные.

Короче говоря, Юлька сказала, что не хочет менять фамилию. Юлькина мама покосилась на отчима:

– Ну-ка, Вить, оставь нас одних на минуточку.

Отчим убрался из кухни, и дальше произошло то же самое, что с Олеськой днём раньше. Юлькина мама взяла и отхлестала выбивалкой для ковров пустое место в метре от Юльки. Она как будто напрочь перестала видеть и слышать дочь. Юлька сначала онемела. Потом закричала, думая, что мама сошла с ума. Потом побежала звать отчима на помощь, но тот её тоже в упор не замечал, сколько она ни надрывалась у него над ухом. Он сидел себе в кресле и скорбно морщился, вслушиваясь в поток сознания, доносившийся с кухни:

– ...тварюга неблагодарная. Витя тебе в жопу дует каждый день. Витя всё! всё! всё! для тебя делает. Комнату тебе, тварюге, сделал собственную. На Чёрное море тебя возил. Ты

с папочкой своим хочешь жить уголовником? С уголовником хочешь жить? Адресок тебе дать?..

Минуты через две отчим встал с кресла, так и не заметив Юльку. Он заглянул на кухню и промямлил, что ладно, Тань, ну что ты, хватит уже. В ответ схлопотал неизменное: «Не учи меня мою дочь воспитывать». Юлька стояла прямо между мамой и отчимом, махала руками и всхлипывала, пока её не затошнило от страха. Когда затошнило, она пошла и поблевала в помойное ведро. Потом спряталась у себя в комнатке. До пяти часов просидела там, выбегая только в туалет (он у Соловьёвых пристроен был к дому).

К началу шестого её стало мутить от жажды. Она решила выйти на кухню. Мама услышала её из большой комнаты. Пришла, предложила рассольника как ни в чём не бывало.

– Ну что, хорошенько обо всём подумала? – спросила она, когда Юлька съела суп и выпила две кружки компота. – Будешь ещё неблагодарничать?

Юлька, конечно, была в шоке, но не настолько в шоке, чтобы поступиться любимой фамилией.

– Я хочу быть Вознесенской, – упёрлась она.

И всё повторилось как утром: мама перестала её замечать, заорала на пустое место, начала оплеухи отвешивать воздуху, а Юлька стояла и плакала от страха перед маминым безумием. Только отчима на этот раз не было, он пить к кому-то пошёл.

– ... я убежала, я бросила маму одну, я так испугалась, я бросила маму, я не зна-а-а-ю, что де-е-е-е-лать... – Юлька перешла с шёпота на плач и, как маленькая, вытерла нос рукавом синей кофты.

Танька Анисимова, шестиклассница, обняла её за дрожащие плечи.

– Надо нашим сказать, – предложила она.

– Надо нашим сказать! – подхватила Дашка Анисимова, второклассница. – Они в психушку позвонят.

У Анисимовых был один из двух телефонов на улице Мира.

– Чё ты мелешь, дура, – сказала Танька младшей сестре.

– Сама дура! Когда с ума сходят, надо психушку вызывать! Сумасшедшие могут знать что...

– Не надо психушку вызывать! – перебила Олеська. Никто не ожидал от неё такого авторитетного голоса. Все прислушались, даже Юлька бросила всхлипывать. – Тётя Таня не сошла с ума. Это Юлька сама теперь такая. Она занесена в Красную книгу. Это значит, что её пороть нельзя.

– Фигня, – сплюнул Гришка Тимохин.

– Она Нин Маратны наслушалась в школе, – фыркнул Лёшка Беззубенко.

– Заткнулись оба в темпе вальса, – сказала Танька Анисимова. Она поглядела на Олеську с чем-то вроде уважения. – А ты откуда это знаешь, про Красную книгу?

– Со мной такое же было вчера, – громко прошептала Олеська. – Я тоже занесена в Красную книгу.

Она рассказала, что с ней случилось после терриконика. О том, что это её заслуга – что это она, рискуя здоровьем, записала себя и Юльку в Красную книгу, не обронила ни слова. Теперь она боялась за тетрадку. В целостности и сохранности на улице Мира оставались только те вещи, про которые никто не знал.

– Мне Нина Маратна сказала после уроков, что ей сказали, что в Ленинграде издали новую Красную книгу, – прошептала Олеська. – Она секретная. Туда заносят детей. Этих детей потом бить нельзя.

– Я знаю, знаю! – горячо зашептала Дашка Анисимова, второклассница. – Это через новую башню делается!

– Да, – немедленно подтвердила Олеська. – Это волны через телебашню идут. Её поэтому построили специально.

Мальчишки, включая меня, так ей и не поверили. Да и Танька Анисимова больше уважала Олеськину фантазию, чем её тайные знания. Родителям, впрочем, никто не проболтался. А третье доказательство силы Красной книги не заставило себя ждать. Оно настигло одного из главных скептиков уже в понедельник.

В тот день Лёшка Беззубенко полез в холодильник, когда из школы пришёл. Там стояли на ужин пельмени вчерашние. Лёшка обожал холодные пельмени и умял с голодухи все двадцать восемь штук. А они, естественно, были домашнего приготовления, крупные. Лёшка объелся жестоко, позеленел, наблевал на пол, и тут папа с шахты вернулся. За ним подросла мама из химчистки. Мама эти пельмени лепила час, фарш с тестом делала час, мясо рубила и сдирала с костей почти час и ещё час с лишним стояла после работы за этим мясом.

– ... они меня не видели ваще! – шептал Лёшка на остановке во вторник утром. – И не слышали! Они орали туда, где меня не было! Папа по воздуху стебал ремнём!

К обеду слухи о детях, занесённых в Красную книгу, поползли по школе. Сначала их пересказывали для прикола, не особенно веря. Так повторяли страшилки про Чёрную Руку, которая обитала в подвале у чёрного входа, или про болото, которое «прорвалось» где-то за Третьей шахтой и грозило поглотить весь город.

Наиболее солидным свидетелем Красной книги была Юлька Соловьёва. Но она той осенью перешла в корпус для больших. Олеська слыла в классе фантазёркой, ну а Лёшку Беззубенко вообще никто всерьёз не воспринимал, кроме Нины Маратовны, потому что он лопухий был, пухлый и второй с конца на физре. И троечник при этом.

Ситуация резко изменилась после четвёртого урока.

У второго Вэ, где училась Дашка Анисимова, на четвёртом было чтение. Вела у них Туранчокс. Читали вслух какую-то поэзию в прозе про золотую осень и гриб-богатырь под кустиком. Дашке попался отрывок с самыми напряжными словами: «зарделась», «неизъяснимого», «увядающему стоцветью». А Дашка и в лёгких-то словах половину букв путала и ударения ставила наугад. Живи она километров за двести от улицы Мира и лет через тридцать после нашего детства, у неё бы дислексию нашли. Когда она стала запинаться, Туранчокс подошла к её парте и там увидела страшное. Дашка в учебнике заячьи уши подрисовала грибу на картинке. Простым карандашом.

– Это кто тебя?! научил?! калякать в школьном имуществе?!

То, что случилось дальше, наблюдал весь класс. Туранчокс отвернулась от Дашки и трижды ударила линейкой воздух в проходе между партами. Затем она выдернула резинку из Дашкиного пенала, зажала её в кулаке, снова отвернулась и резко опустила руку всё в то же место в проходе, как будто хотела припечатать резинку к невидимой поверхности. Резинка упала на пол, отскочила ей на туфлю. Туранчокс не заметила этого.

– Вытирай! – скомандовала она пустому месту. – Ещё раз увижу такое – к стенке поставлю!

Как только прозвенел звонок, новость о случившемся разлетелась по обоим этажам. Дашка Анисимова, румяная от внезапной славы, лично повела к Олеське делегацию одноклассников. По дороге делегация обросла первоклашками, а также представителями второго Вэ, второго А и нашего третьего Гэ. Олеську нашли у кабинета труда для девочек и обступили полукольцом.

– Вот! – Дашка встала рядом с Олеськой, по-заговорщицки взяв её за руку. – Она первая узнала про Красную книгу. Она вам скажет, почему Туранчокс меня не ударила.

Насладиться ролью эксперта Олеська, впрочем, не успела. Толпа вокруг неё росла угрожающими темпами. К середине перемены в ней уже толкались девчонки и мальчишки

из вообще всех классов, и каждый наперебой спрашивал, кого уже занесли в Красную книгу, а кого ещё не занесли, и что нужно сделать, чтобы туда попасть как можно скорее.

Олеське хотелось убежать или хотя бы закрыть ладонями уши. Она ведь знала точные ответы на эти вопросы. Она могла хоть сейчас заглянуть в тетрадь и зачитать имена по порядку, или даже назвать их по памяти, сославшись на Нину Маратовну. Но ей было стыдно, что имён в тетради так мало. Само собой, она не знала всех детей в школе, но она же знала всех с улицы Мира и почти всех с Девятого мая, и кое-кого с Горняков. Почему она остановилась в конце первой страницы? Она же долго торчала на терриконики, целый час, не меньше. Могла бы занести всех, кого знала.

Внезапно по галдящему кольцу побежали сигналы тревоги:

– Атаc, трудовичка! Трудовичка возвращается! Майя Григорьна идёт с Жан Юрьной!

– Таааак, это что у нас тут за народное собрание? – раздалось с другого конца коридора.

Олеська почувствовала, что сейчас расплачется, если не придумает, что делать со своей тайной.

– Я попробую! – крикнула она в редющую толпу. – Я честно попробую разузнать!

Гвалт вокруг неё стремительно затихал, но те, кто не успел смыться, подступили поближе.

– Я попробую разузнать, – повторила она отчаянным шёпотом. – Только мне имена всех нужны. Все имена из всех классов.

479 + 6 + 1

До выходных было ещё несколько подтверждений, и уверовали не то что многие, а буквально все, если взрослых не считать, которым никто ничего не говорил.

В среду на физкультуре Димка Ломакин из четырёхквартирного дома рядом с нашим попал мячом Степанычу по башке. Степаныч взревел, в три скачка подлетел к Димке и отвесил затрещину воздуху в метре от Димкиной головы.

Около семи вечера того же дня тётя Галя Тимохина с Гришкой приехала в новый район, чтобы забрать Гришкиного отца из пивбара «Пивной зал», где он пропивал значенную получку. Моя мама к пивбару не ездила, с нашим папой номера на жалость не катили. Зато Гришкиного можно было перехватить на крыльце сразу после закрытия, когда папы перемещались на другие точки. Он орал сначала, норовил тёте Гале съездить кулаком по лицу, она уклонялась, а потом стыдила его ребёнком и тащила на остановку, пока собутыльники ржали сзади: «Галина! Галиночка! Ну, ты сурооова!» В этот раз было примерно то же самое, только Гришкин отец попал-таки тёте Гале в глаз. Гришка на него заорал, и мгновение спустя все вдруг заинтересовались кустом слева от Гришки, а Гришкин папа схватил этот куст за ветку и стукнул его по листьям на высоте Гришкиной головы.

В четверг случилось сразу два подтверждения. Туранчок в школе ещё раз отстегала воздух вместо Дашки Анисимовой. А на улице Мира подошла очередь Дашкиной сестры, Таньки. Мама хотела ей всыпать за то, что она после уроков к подружке зашла и домой приехала полвосьмого. У Анисимовых били скорее шумно, чем больно – веником или мокрым полотенцем, редко ремнём или проводом от пылесоса. В этот раз под рукой оказался веник.

– ... всё как вы говорили! – шептала Танька на остановке в пятницу утром. – Точь в точь! Она вообще меня не видела! Веником фигачила по воздуху. И по табуретке.

– А ты её звала? – спросила Юлька Соловьёва-Вознесенская. Она чувствовала укол разочарования каждый раз, когда выяснялось, что волны с телебашни берегут ещё одного ребёнка.

– Да чуть не голос не сорвала! За руку её подёргала даже.

– И чё? Ничё? – спросил Лёшка Беззубенко.

– Неа. Ноль внимания! Вот, Олесь, – Танька расстегнула портфель и достала из него двойной тетрадный листок, свёрнутый вчетверо. – Я вечером написала тебе всех из нашего класса. Весь шестой А. Ты же сказала, что можно узнать, кого занесли, да?

Олеська взяла листок и сунула к себе.

– Я попробую, – сказала она. – Честное-пречестное.

К вечеру пятницы у неё в портфеле скопился целый ворох листков. Алая тетрадь, в серединку которой Олеська их складывала, разбухла, и Олеська старалась не думать, сколько ей придётся писать на терриконики. Листки были в клеточку, в линейку, вообще без разметки – из альбомов и блокнотов, и почти каждый был сверху донизу исписан именами, фамилиями, кое-где даже отчествами.

Ещё в среду Олеська попросила всем передать, чтобы писали поразборчивей. Лучше всего большими буквами и не слитно. Просьба, к сожалению, дошла не до всех. Некоторые списки пришлось долго расшифровывать и переписывать заново при участии Юльки и Таньки. Даже Олеськина сестра Вика, последний бастион скепсиса («Олеська? Чё она может узнать? Чё она вам натрепала?»), под конец согласилась помочь, хотя её на той неделе как назло ни разу не били.

Всего набралось восемнадцать списков. В ворохе листков были первый А, Бэ и Вэ – в каждом из них нашлись свои Насти Чеушенко, выучившиеся писать ещё до школы, в своих квартирах с балконами, сануздами и тихими родителями на улицах Маяковского и Грибоедова. Были все три вторых класса. Был третий А и третий Бэ. Я записал наш третий Гэ. Свой третий Вэ Олеська знала и так.

Из корпуса для больших, кроме Танькиного шестого А и Юлькиного пятого Бэ, принесли ещё два пятых, ещё два шестых, седьмой А и даже восьмой Вэ. В нём училась восьмиклассница Геля, развлекавшая девочек улицы Мира легендами о своей личной жизни.

Последний список около восьми вечера в пятницу принесла Светка Авдеева с рыжей косой.

– А Олесю можно? – услышала Олеська сквозь шум хоккея по второй программе.

У неё заколотилось сердце. Светка Авдеева ещё ни разу не приходила лично к ней, а не к Вике или к ним обоим. Олеська сорвалась с подоконника во второй комнате, которую делила с Викой и Андрюшкой. Пробежала сквозь первую комнату, мимо поддатых пап нашего дома, смотревших матч ЦСКА – «Химик». Ворвалась в кухню.

Светка стояла у порога в мокрой зелёной курточке с молнией и стоячим воротником – такой больше ни у кого не было. На рыжих волосах красиво дрожали капли. Даже Олеськина мама смотрела на Светку с улыбкой одобрения.

– Олесь, я только наброски тебе передать, – сказала Светка. – Ты просила для ИЗО которые. Тётя Лена, мы поговорим в прихожей, чтоб вам не мешать?

– Ох, Светочка, – вздохнула тётя Лена. Её руки закатывали тысячную банку с яблочным повидлом. – Если б это ты мне мешала. А не наши чемпионы по хоккею с бутылкой, – она мотнула головой в сторону комнаты с папами.

В прихожей Светка вытащила из-под куртки три альбомных листка, вложенных в старый номер журнала «Костёр». Среди них, для конспирации, и правда было два рисунка цветными карандашами. На одном росли джунгли, из которых выглядывал зверь, похожий на помесь коня и кошки. На другом, нарисованном как будто из положения лёжа на земле, весь передний план занимала трава и красно-жёлтые кленовые листья, а на заднем плане, под небом и облаками, стоял Старый терриконик. У Олеськи перехватило дыхание от этого рисунка.

– Откуда ты про терриконик знаешь? – прошептала она.

– В смысле «знаешь»? – засмеялась Светка, не понимая. – Его отовсюду видно.

– Аааа... – покраснела Олеська.

– Олесь, – посерьёзнула Светка. – Я наш класс тебе принесла.

На третьем листке вместо рисунка синели двадцать семь имён и фамилий, записанных в алфавитном порядке Светкиным почерком – кружевным, но очень ровным и понятным. Сверху в уголке было помечено: «б Б, школа №10» – Светкина школа в новом районе.

– Узнай про наших тоже, если получится, – попросила Светка.

– Я попробую, – прошептала Олеська, готовая лопнуть от счастья. – Я скоро-скоро попробую. Честное-пречестное.

В субботу с утра оказалось, что пятничный дождь лил не случайно. Не простояв и недели, бабье лето приказало долго жить. Красный столбик на градуснике в окне кухни скатился до второй чёрточки под отметкой «10». Из грязно-ватного неба без остановки моросило. Вика, которой поставили четыре урока на субботу, тихонько ныла, собираясь в школу. Она бы притворилась больной, если б точно знала, что занесена в Красную книгу. Но Олеська так и не решилась ей сказать.

Олеська повалилась в постели, пока не проснулся Дрюша. Когда он выполз из-под одеяла, она встала, сводила его в туалет в кладовке, сполоснула ему лицо из тазика. Пописала и умылась сама. Потом отвела Дрюшу на кухню и усадила за стол.

– Каша на плите, – шепнула мама, листая журнал «Костёр», принесённый Светкой.

Папа ещё отсыпался. Дома было тихо, тепло и уютно, по сравнению с мокротенью за окном. Олеська поела вместе с Дрюшей. Напоила его и себя чаем с печеньем. Дрюша тоже говорил шёпотом, чтобы не разбудить папу раньше времени. Он рассказал, как у них в садике кто-то упал с карусели и «лазбился до клови», а какая-то девочка с Горняков нашла «афликанского жука». Затем он сообщил, что «Илина Лобелтовна пломахнулась».

– Чё Ирина Робертовна сделала? – насторожилась Олеська.

– Пломахнулась папком, – объяснил Дрюша, запихивая в рот печенинку. – Ома попела мемя убавить папком и помамувась.

– Не болтай с набитым ртом, – прошипела мама, не отрываясь от журнала «Костёр». – Ох, какие Авдеевской девчонке журналы выписывают. Вас подписать, что ли...

– Мам, – шепнула Олеська. – Можно я к Свете рисовать пойду? Она меня звала вчера.

Мама подняла глаза и вздохнула.

– Да иди, конечно, дочка. Иди, порисуй. Тока не лезь никуда.

Олеська вернулась в комнату и стала собираться. Первым делом она упаковала алую тетрадь и списки в полиэтиленовый пакет с фотографией Ленинграда, который хранился в её части тумбочки. Поколебавшись, она добавила сверху ещё и Викин полиэтиленовый пакет. Она же всё равно собиралась Вике всё объяснить после терриконика.

Убедившись, что мама не видит, Олеська натянула самые штопаные колготки, самую толстую юбку и носки потеплее. Под кофту пододела две футболки. Сунула в портфель рассказы Бианки – самую широкую книгу в твёрдой обложке. На ней можно было писать вместо стола.

В прихожей, закрыв за собою дверь кухни, она надела куртку с капюшоном и резиновые сапоги. Потом сдёрнула с крючка папину брезентовую накидку. Торопливо её свернула, кое-как запихала в портфель и пулей выскочила на улицу, задыхаясь от жаркого страха. Конечно, Олеська знала, что теперь её защищает Красная книга. Но делать в открытую столько всего запретного всё равно было очень боязно.

Она пошла тем же путём, каким возвращалась с терриконика неделей раньше. Сначала по улице Мира до Павлика Морозова, дальше до Горняков, потом до переезда и оттуда по виляющей тропинке вдоль железной дороги. На улице Павлика Морозова, у поворота на Девятого мая, к дому Светки Авдеевой, Олеська ненадолго остановилась. Она представила, как здорово было бы и правда пойти к Светке. Сидеть рядом с ней полдня на большом диване, смотреть, как она рисует в альбоме. Слушать космическую музыку из Латвии.

– Нет, – запретила себе Олеська, смахнув с носа капли дождя. – Нет, нет, нет, нет. Я дала честное-пречестное.

И побежала дальше вприпрыжку, пока не передумала.

Как всегда, виляющая тропинка привела её под самый крутой склон. Олеська решительно свернула влево, к железнодорожному полотну, чтобы дойти до пологого подъёма коротким и относительно сухим путём. Даже если б её не защищала Красная книга, было слишком рано, начало одиннадцатого, баня ещё не открылась, и никакой дядя Бугор не мог засесть с банного крыльца, как она шагает по шпалам с портфелем на плечах.

От этого ощущения силы и безопасности шагалось особенно легко. Олеська заулыбалась. Она чувствовала себя как девочка из кино про детей из Нашей Страны, где все взрослые были похожи на Нину Маратовну и на папу Насти Чеушенко. В худшем случае – на трудовичку Майю Григорьевну. Она даже начала думать, что, может, и не промочит ничего, кроме юбки и колготок.

Метров через пятьдесят она поняла, что промокнуть всё-таки придётся насквозь. За прошедшую неделю между железной дорогой и пологим подъёмом вырос деревянный забор. Такое случалось периодически, когда на шахте начинали за порядок бороться. Где-нибудь ставили забор, и он там стоял, пока юношество его не разламывало.

Этот забор возвели прямо на пути у Олеськи. Одним концом он упирался в ствол шахты, из которого раньше выезжали вагонетки, а другим – в подножие терриконика. Препграда была не ахти какая, тем более что кусты вдоль забора расчистили, но чтобы её обойти, нужно было вскарабкаться по глинистому участку.

Олеська пошла вдоль забора к терриконнику. Почти сразу она зачерпнула воды в левый сапог. Через несколько шагов зачерпнула в правый. Дойдя до конца забора, она полезла вверх по каше из мокрой глины и щёбёнки. Юбка измазалась мгновенно. Мазки глины стали появляться на куртке. Но хуже всего была грязь на руках. Если б не внезапный забор, Олеська вошла бы на терриконик, вообще ни за что не хватаясь. А теперь она только и думала о том, чем вытереть руки, когда придёт время открывать алую тетрадку.

От края забора до старых рельс надо было прокарабкаться по диагонали метров двадцать пять, и Олеська почти преодолела это расстояние. Предвкушала уже, как выпрямится и пойдёт дальше по-человечески, на двух конечностях вместо четырёх.

– Эй! – вдруг завопил снизу взрослый голос. – Ты куда лезешь? А ну на хуй вниз! Забор же, бля, поставили для вас! Не видишь? Тупая, бля, совсем? А ну давай, откуда влезла! Шчас поднимаюсь! По жопе – и в милицию!

Олеська даже не поглядела на источник голоса. Она рванулась обратно к забору, по диагонали вниз, бешено перебирая руками и ногами камни, засевшие в глине. В конце концов один из камней вырвался из своего глиняного ложа, её рука сорвалась, и последние метра два с половиной она катилась чуть ли не кубарем. К счастью, приземлилась на свежую кучу порубленных кустов. А главное, с внешней стороны забора.

Какая-то острая ветка разодрала ей кожу на щеке. Это Олеська поняла уже далеко от места падения. Она не стала разлёживаться на кустах, искать, где что поцарапано. Вскочила на ноги и сиганула обратно к железной дороге. Ей не хотелось проверять, насколько успешно Красная книга защищает от чужих мужиков, стерегущих шахту. Только на шпалах, отбежав от забора метров на сорок, она вытерла мокрое лицо тыльной стороной ладони и увидела кровь.

Руки она вытерла о мокрую юбку.

Пологий подъём был закрыт. Олеська заплакала, не прекращая идти по шпалам. Она не собиралась отступать. Она просто боялась до слёз, что не сможет залезть там, где круто.

Вернувшись к месту, где виляющая тропинка упиралась в самый крутой склон, Олеська решила передохнуть и села на камень. Дождь уже не моросил, он падал приличными каплями, которые стучали по капюшону и портфелю.

Посидев на камне, Олеська двинулась вправо. Если уж не до подъёма идти с рельсами, рассудила она, то хотя бы до болота, где склон, кажется, был не такой отвесный. Прыгая с камня

на камень, как неделю назад, она дошла до болота. То ли зрение её обманывало, то ли склон ни грамма не делался положе. Олеська проскакала ещё метров тридцать и остановилась возле глубокой каменной борозды, которая тянулась вверх почти до самой вершины. В борозде тоже было круто, но хотя бы можно было хвататься за стенки.

Позже, когда Олеська вспоминала своё восхождение, ей казалось, что она лезла целую вечность. Резиновые сапоги чиркали по мокрым камням. Щебёнка выскальзывала из-под ног. Олеська падала, вставала, снова падала, сползала на метр вниз, вставала, хваталась за хилые ростки ольхи, за ржавые обломки арматуры, торчавшие из глины, отвоёвывала метр обратно, добавляла ещё один, переводила дух, стоя на голых коленках (штопаные колготки не выдержали альпинизма и в нескольких местах разошлись). Последний раз она оступилась прямо у вершины, когда борозда кончилась, и осталось метров пять относительно гладкой насыпи. Она случайно поставила ногу на обрывок резины, застрявший в камнях. Нога дёрнулась вниз, Олеська дёрнулась вслед за ней. Какую-то долю секунды она была уверена, что сейчас покажется по склону и сломает себе шею, и умрёт или хуже – будет ходить под себя и гнить в доме инвалидов, как обещала мама. Но всё обошлось, в последний момент она зацепилась за кривую берёзку, и берёзка выдержала её. Олеська даже захихикала, пока лежала, схватившись за эту берёзку. Ей вспомнилась настольная игра, в которую играли на дне рождения у Гришки Тимохина. Там надо было дойти фишкой до ста, и прямо перед финишем, на клетке 97, поджидала жестокая подлянка: «Вы забыли подарки для друзей!» И ууууух – картинка с самолётом и стрелка вниз на самый старт.

Короче говоря, Олеська никогда бы не поверила, что её путь от подножия до вершины занял четырнадцать минут. Ещё минут пять она просидела у края наверху. Мир вокруг терриконика был всё таким же осенним и огромным, несмотря на бесцветную плёнку дождя, размывшую его детали, и даже несмотря на слёзы, которые опять потекли у Олеськи из глаз. Какая-то часть слёз текла от элементарной боли. Олеська, пока лезла, почти не замечала, как жгутся и колотятся все её ссадины и царапины.

Другая часть слёз текла от того, что было в будущем. Вечером, знала Олеська, мама с красным лицом будет орать в пустоту. Папа, вернувшись из бани, будет хлестать воздух маминой портняжной линейкой. Они были как люди из тех фильмов, которые часто повторяли по телевизору. Олеська подумала про один такой фильм, с Никулиным. Его повторяли утром, днём, вечером, весной, зимой, по первой программе, по второй, по Ленинграду. И каждый раз все люди в фильме, включая Никулина, делали точь в точь одно и то же.

Потом Олеська вытерла все слёзы – и те, что от боли, и те, что от будущего. Она поднялась с камня, на котором сидела, ничего не подложив, нарушая страшную заповедь для девочек. Пописала и отправилась делать то, зачем залезла.

Укрыться от дождя наверху было негде. В конце концов, побродив по каменному полю среди облысевших берёзок, Олеська выбрала то романтическое углубление, в котором, по рассказам Гели, назначали друг другу свидания влюблённые старшеклассники.

Она села на бревно возле кострища, достала из портфеля папину брезентовую накидку и накрыла ею себя и портфель, оставив у земли большую щель для света. Потом вытащила отсыревшие рассказы Бианки. Положила книжку на колени. Вынула алую тетрадку из обоих полиэтиленовых пакетов. Внешний пакет, Викин, тоже отсырел, зато её пакет с Ленинградом был совершенно сухой. Олеська постелила его на Бианки. Достала ручку, открыла тетрадку на второй странице, приготовила первый листок с именами. Накануне она организовала их по порядку – от первого А до восьмого Вэ. Не по порядку лежал только самый первый листок в пачке.

– Ав-де-е-ва... Свет-ла-на... за-не-се-на... вэ... Крас-ну-ю.. кни-гу, – прошептала Олеська, переписывая первую строчку этого листка.

Ей очень нравилось, что у Светки фамилия на «А» – первая в списке.

- Гу-ни-на... Е-ле-на... за-не-се-на... вэ... Крас-ну-ю.. кни-гу.
- На этот раз Олеська не пропускала строчки, писала в каждой.
- До-ро-шен-ко... Де-нис... за-не-сён... вэ... Крас-ну-ю.. кни-гу.
- Жел-ва-ко-ва... А-нас-та-си-я... за-не-се-на... вэ... Крас-ну-ю.. кни-гу.
- Ис-ма-и-лов... Сер-гей... за-не-сён... вэ... Крас-ну-ю.. кни-гу.

Олеська знала, что ей принесли восемнадцать списков, и что в каждом не меньше двадцати имён, и что в её классе ещё восемнадцать человек, не занесённых в Красную книгу. Подсчитывать имена перед восхождением она не стала специально. Слово «много» пугало не так сильно, как число 479. Если бы она знала это число заранее, если бы она прикинула, сколько секунд у неё уходит на каждую строчку, и что получается, если умножить эти секунды в столбик на 479, ей бы никогда не хватило сил. Она бы бросила после первой лопнувшей мозоли на пальцах. Или когда пальцы замёрзли. Или когда заныла спина. Или когда совсем страшно захотелось пить (нестрашно хотелось ещё у подножия терриконика).

А так сил хватило до самого конца, на все пять часов и тридцать две минуты. Хватило даже чуть-чуть на больше. Записав последнее имя из Гелькиного восьмого А, Олеська попыталась вспомнить ещё кого-нибудь. Вспомнились шесть имён из Дрюшиной группы в садике. Не все с фамилиями, но это было ничего, Красная книга понимала и без фамилий.

Больше на ум не шёл никто, кроме Никулина, который делал одно и то же каждый раз, когда фильм про него повторяли по телевизору. Тогда Олеська передвинула скрюченные пальцы на строчку вниз и сделала последнюю запись в алой тетради:

«Моя мама занесена в Красную Книгу».

Буквы вышли тоненькие, как спутанная синяя паутинка. Олеська больше не могла нажимать на ручку.

Улица Мира

Красная книга охраняла нас целых двенадцать дней. За это время никто не заработал дома ни одного синяка. Никому не было больно сидеть на стуле. Ни у кого спина не вспухла. Туранчокс не попала линейкой ни по одному пальцу, а к стене у доски ставила только невидимок. Трудно сказать, сколько детей из алой тетради видели силу Красной книги в действии, но счёт явно шёл на сотни. Даже везунчики вроде меня и Светки Авдеевой успели насмотреться, как родители дают оплеухи пустоте и колотят тапком занавески. Если бы мы, мальчишки, друг с другом не передрались на радостях, то в нашем районе с четвёртого по пятнадцатое октября вообще бы били одних мам. Ну, и некоторых детей старшего школьного возраста.

А потом алой тетради не стало. Мне не очень хочется рассказывать в подробностях, как это произошло. Как Олеська хватала тётю Лену за халат, кричала «мамочка, пожалуйста» и пыталась вырвать у неё тетрадку. Как она убежала из дома. Как приехала к Насте Чеушенко, как упрашивала Настиного папу, чтобы он её удочерил, потому что она будет им с Настей всё стирать и шить, и варить грибной суп, и печь пирожки с капустой – она умела, честное-пречестное.

Поэтому я в двух словах. Вернее, в трёх: тётя Лена испугалась.

В тот день, пятнадцатого октября, Олеськин отец пропил больше трети аванса в пивбаре и его окрестностях, он был очень щедрый человек. Когда он добрался до дома, тётя Лена не выдержала и закричала на него. Он, как обычно, решил её за это наказать. Взял с серванта деревянные часы с длинным основанием на металлических ножках, чтобы ударить тётю Лену по спине, и стал махать этими часами в метре от неё, матерясь и брызгая слюной в пустое

пространство. И тётя Лена испугалась. Подумала, что муж с ума сошёл. Хотела бежать к Анисимовым, скорую вызывать.

Олеська выскочила за ней на улицу и попыталась успокоить. Шёпотом рассказала маме у дровяного сарая, что теперь её охраняет тетрадка волшебная, которую Нина Маратовна дала. В эту тетрадку, объяснила Олеська, можно заносить людей, как в Красную книгу. Всех детей она уже занесла, а из взрослых пока только её, маму. Но скоро она запишет и тётю Галю, и тётю Таню, и тётю Любу, и вообще всех мам на улице Мира.

И тётя Лена испугалась ещё больше. Она росла в деревне до четырнадцати лет, у них в семье верили в колдовство, в бога и лешего с домовым. Её мать, Олеськина бабушка, даже в нашем городе умудрялась ходить в церковь. Специально ездила куда-то в район за десять километров.

Короче говоря, Олеська показала маме алую тетрадь, а та отобрала её и кинула в печку «от греха подальше».

В тот же вечер опять стали пороть по-настоящему. Многие от этого плакали сильнее, чем раньше. По крайней мере, в первые дни. Всем было жалко, что передатчик защитных волн на телебашне сломался от перегрузки. Такая версия ходила у нас в корпусе для маленьких. По другой версии (её предпочитали дети постарше), у нас в городе испытывали новое сверхсекретное оружие против американцев. Когда стало ясно, что оружие действует, испытания завершились. Обе версии сходились на том, что силой Красной книги управляла Наша Страна.

Действия Нашей Страны никогда не поддавались объяснению, и никому не приходило в голову долго из-за них горевать. Красная книга, охранявшая детей, осталась в нашей памяти чем-то вроде легендарного кекса в форме телёнка с изюмом. Этот кекс однажды возник ниоткуда в кулинарии на Маяковского, продавался там месяца два почти без очереди, а потом бесследно исчез, будто бы его и не было. Грустно, но что поделаешь.

Олеське, с одной стороны, пришлось хуже всех. Она-то прекрасно знала, откуда что взялось и куда делось.

С другой стороны (которая с годами заслонила всё остальное), Олеська очень хорошо помнила те бесконечные часы на терриконики. Это были единственные часы в её жизни, когда она чувствовала себя всеильной, когда она умела управлять государственно-волшебной властью, и у неё всё-всё-всё получилось. Она помогла другим и даже самой себе.

На улице Мира ни у кого больше не было таких воспоминаний. Ни тогда, ни после. Поэтому не надо думать, что у Олеськиной истории несчастливый конец. Олеська сделала всё, что могла. Понимаете? Она победила. Олеська на целых двенадцать дней победила улицу Мира.

2017



День рождения муми-мамы

В середине нулевых, когда были ещё какие-то иллюзии, я прожил два года с девушкой, которая выучила шведский, чтобы читать Туве Янссон в оригинале. Звали её, соответственно, Лара.

Лара бы сказала, что это она потратила два года жизни на типа, который паял модельки межпланетных аппаратов «Венера 7—16» с отделяемым посадочным модулем. Тем более что мои «Венерки» торжественно стояли на самой видной полке. Всех гостей рано или поздно настигала лекция о достижениях советской беспилотной космонавтики. Я знал наизусть габариты, даты, сообщения ТАСС. Лара называла это «тяжёлым венерическим заболеванием».

Её любовь к Туве Янссон пряталась в антикварном сундучке под кроватью. Аккуратно, томик к томику. Слева книжки про муми-троллей – одной красивой шведской серией с благородными корешками и крупными, аппетитными буквами на душистых страницах. Эти буквы хотелось есть ложкой, вместе с иллюстрациями. Читать-то их я всё равно не мог. Справа стояли книжки не про муми-троллей.

– Типа для взрослых? – спросил я, когда Лара первый раз показала мне свои сокровища.

– У неё ВСЁ для взрослых, – расстроилась Лара. Вернее, это я сейчас понимаю, что расстроилась. Тогда подумал, что обиделась. Или вообще строит из себя хрен знает что. Изображает понимающую смыслов, сокрытых от простых смертных, не знающих шведского.

Лара начала мне объяснять, почему книжки про муми-троллей тоже для взрослых, но скоро споткнулась об защитную ухмылку на моей роже. Это я так боролся с комплексом неполноценности. Я и по-английски-то тупые триллеры до сих пор со скрипом разбираю. А она тут, видите ли, целый шведский выучила, чтобы читать сказки про двуногих бегемотиков.

Короче, не нужна мне была никакая Туве Янссон для взрослых. Мне, во имя мужского самолюбия, нужно было зафиксировать Ларино увлечение на уровне няшных брелочков, блюдец и прочей муми-дребедени, которой все затовариваются на паромах Silja Line. Правда, слово «няшный» тогда ещё не говорили. Простите за анахронизм.

Однажды, где-то в начале наших двух лет, я привёз ей шампунь и передник из Хельсинки. На шампуне танцевала фрёкен Снорк с ядовито-жёлтой чёлкой. Передник содержал всё муми-семейство на фоне кометы и красных листьев.

Лара, когда я ей это вручил, кое-как изобразила радость. Сказала «спасибо» и даже шампунем потом честно мылась до конца флакона. Но сувениров с муми-троллями попросила ей больше не дарить.

– Саш, ты только не дуйся, – сказала она, выждав пару дней. – Просто весь этот мерчандайс не имеет никакого отношения к тому, за что я люблю Туве. Мне от него – ну, как будто арбуз ела, а руки негде помыть. Липко как-то...

– Пааанятно, – сказал я.

Надулся, уселся в свой угол и не менее часа безмолвно читал фигню в интернете, оскорблённый в так называемых лучших чувствах. Но муми-троллей больше не дарил.

Вот такая, вкратце, предыстория. А рассказать я хочу про день рождения муми-мамы, который устроил в наше последнее лето.

Что лето у нас последнее – чувствовали все. Кроме меня. Например, это чувствовала Мария Столбняк, Ларина подруга детства. Она меня подкараулила в конце июля после работы. В прямом смысле: приехала на промзону «Парнас» и сорок минут стояла у проходной, пока я не вышел. Я думал, так только в кино бывает, да и то крайне редко.

Маша Столбняк – замечательный человек. Даром что выросла с обкомовской бабушкой и филармонической мамой в отдельной квартире на Третьей линии. Одну половину недели она даёт уроки фортепьяно потомству людей, о которых трудно думать без классовой ненависти.

Другую половину таскается по детдомам, бесплатно. Недавно, когда иностранное усыновление запрещали, она всю осень простояла в одиночных пикетах. В Москву специально ездила.

С Ларой Машу связывает страшная клятва в вечной дружбе, данная в кустах лагеря «Зеркальный». Им тогда было по двенадцать лет. Это, наверное, первый раз в истории человечества, когда такая клятва сработала.

– Саша, – сказала Маша на промзоне «Парнас» вместо приветствия. – Я хотела с тобой поговорить про вас с Ларой. Пожалуйста.

– Пожалуйста! – воскликнул я. Так невозмутимо, что правое веко задёргалось. – Поговори!

Мы доехали на развозке до Просвещения, сели в кафе в торговом центре, и Маша стала открывать мне глаза на вещи, которые совершенно не хотелось видеть. Она говорила чистую правду, я даже тогда это понимал, и поэтому каждое слово казалось вопиюще несправедливым. Я слушал и ёрзал на стуле от негодования. Хотелось встать и сказать сверху вниз ледяным тоном: воистину, Мария, я говно, но вам, как девушке интеллигентной, должно быть известно, что идеальных людей не бывает, каждый говно по-своему, и я решительно не понимаю, почему вы вздумали говорить правду именно мне, а не родителям ваших ученичков, которые пилят бюджетные миллионы или берут откаты в тридцать процентов, я не говорю уже про родителей ваших детдомовцев, которые поголовно живы и преспокойно спиваются дальше, и раз уж мы перешли на личности, то почему бы вам не начать с вашей подруги, которая —

– на этом месте моя фантазия надломилась, потому что Лара, негромкая глазастая Лара, остроумная изящная Лара, а также все её каштановые кудряшки, печальные британские певицы, несимметричные пальцы, прогулки по Гатчине, тапки с вышивкой, Туве Янссон в сундуке под кроватью – всё это не имело к говну ни малейшего отношения и, более того, являлось его абсолютной противоположностью.

Конечно, у Лары были какие-то недостатки. Но меня-то раздражали не они. Меня раздражали шибко умные подруги и языки иностранные. Бесило, когда она рассказывала за ужином, какой у неё был интересный день на её интересной научной работе. Особенно бесили молчаливые выходные, когда она боролась с депрессией.

И потом, я уже к середине нулевых установил опытным путём, что никаким ледяным тоном говорить не умею. Я знал: а) Нева впадает в Балтийское море; б) если я щас встану и разину рот, оттуда выпадет «Иди ты в жопу, Маша», и это ещё в лучшем случае. Поэтому я продолжал сидеть и ждать, когда же Маша подведёт черту и скажет что-нибудь в духе: «Если Лара тебе дорога, отпусти её». Но Маша оказалась ещё лояльней, чем я думал.

– Саша, – сказала она, подводя черту. – Ты хороший человек. Иначе бы Ларка с тобой не жила. Вы так хорошо смеётесь вместе. Но некоторые досадные мелочи очень отравляют жизнь. Если Лара тебе дорога, помоги ей быть счастливой. Пожалуйста.

Маша не допускала, что подруге просто не повезло. Что Лара + Саша = недоразумение. Что за встречей на турецком пляже, за сексуальной совместимостью и смехом в унисон не было никакой тайной гармонии. Наша с Ларой неделя в Анталии должна была остаться неделей. В Анталии. Не надо было импортировать её в Санкт-Петербург и натужно растягивать до двух лет.

Но ничего подобного я тогда, естественно, не подумал. Я сидел довольный, как депутат Госдумы. Менял гнев на милость. «Маша Столбняк считает меня хорошим парнем, который осчастливит Лару!» Такое примерно коммюнике выпустили у меня в голове по итогам встречи в торговом центре на Просвещения. Остальное замели под кат, как несущественные подробности.

Осадочек, впрочем, остался. Такой ощутимый, что я даже исполнил пару Машиных просьб. Например, не наехал на Лару за то, что её драгоценная подруга читает мне лекции.

Осталось и сверлящее желание что-нибудь побыстрее сделать для галочки. Осчастливить Лару в кратчайшие сроки, без особого отрыва от пайки «Венеры 15» и чтения фигни в интернете.

Пятого августа я возвращался с ночной смены и зашёл в «Буквоед» – всё там же на Провсвещения, в подвале торгового центра. Дату помню точно, потому что это день запуска «Марса б» (1973 г.), останки которого сейчас активно ищут на насовских снимках. Энтузиасты вроде меня.

Такие даты я всегда помню точно.

Вообще-то, я зашёл, чтобы купить отцу роман Фазиля Искандера в двух томах. Этого романа в «Буквоеде» не оказалось. Зато у кассы стояло красочное издание с муми-мамой, разливающей что-то из термоса по стаканчикам разных размеров. Один муми-тролль наблюдал за процессом, другой подавал новый термос. Называлось это «Поваренная книга муми-мамы». Автор – не Туве Янссон. Перевод с финского.

Я полистал. Покрутил. Российскому издателю, похоже, было всё равно, кто автор. На оборот обложки втиснули краткую биографию Туве Янссон, выдержанную в дубовом стиле советских послесловий: «Известная финская сказочница Туве Янссон родилась 9 августа 1914 года, когда Финляндия входила в состав Российской Империи. Детство и юность будущей писательницы пришлось на один из наиболее драматичных периодов в финской истории. Возможно, поэтому...»

И тут меня осенило. Девятого августа! Это ж в среду (или в четверг – лень по календарю проверять)!

Ладно, подумал я. Мерчандайз нельзя, он липкий. Не букву, а дух Муми-дола – вот что надо дарить! Как там говорила М. Столбняк двумя этажами выше? «Делать то, что совсем не хочется, радуясь будущей радости любимого человека». Тогда будет неподдельная благодарность. Будет обоюдное счастье в больших количествах.

Отгадайте с одного раза, чего мне совсем не хотелось. Ну естественно: заправлять одеяло в пододеяльник и готовить. Вернее, больше всего не хотелось вести себя по-человечески: слушать, не огрызаться, изживать свои грёбанные комплексы вместе с защитной ухмылкой. Всего этого так сильно не хотелось, что даже в голову не приходило.

Поэтому я зацепился за то, как я ненавижу готовить. А я искренне ненавижу готовить, не просто в силу стереотипа. Даже процедура с пододеяльниками меня меньше напрягает – она хоть короткая.

И представилось мне: я принёс жертву. Девятое августа, вечер, Лара пришла с работы. Я встречаю её в прихожей (надо Серёгин велик оттуда убрать на балкон, уже второй месяц руки не доходят). Поёт британская певица умеренной печальности. Из-за моей спины появляется букет полевых цветов (у бабушки купить в переходе).

«С днём рожденья муми-мамы, Ларыч! Да ты чего, как я мог забыть?»

Проходим в комнату. На столе скатерть, на скатерти ужин из трёх и более блюд. «Фруктовый салат Сниффа». «Походный суп Снусмумрика». «Картофельная запеканка голодного Муми-тролля». Яблочный сидр в графине. В качестве контрольного выстрела – «Кексы по рецепту Филифьонкиной бабушки». Теперь такие кексы «маффинами» обзывают.

В конце видения я немедленно мыл посуду. Лара светилась от счастья. Квартира превращалась в панельный уголок Муми-дола на проспекте Шаумяна.

– День рожденья муми-мамы... – прошептал я, потрясённый собственной гениальностью.

– Что вы сказали? – встрепенулся буквоедовский кассир.

– Да не, ничего. Я книжку вот эту возьму.

Ещё я взял отгул на девятое число. Ларе ничего не сказал. Девятого встал в шесть, вышел из дома без пятнадцати семь. Конспиративно слонялся в соседнем дворе, пока Лара не прошла

в сторону метро. Утро было солнечное, но прохладное. На невытопанных участках газонов блестела роса. Приятно, по-летнему пахло далёким лесным пожаром.

После ухода Лары я выждал ещё минут десять и вернулся домой. Подмёл пол, поводит по нему мокрой тряпкой. Выволок на балкон велосипед. Отправился за ингредиентами. Обошёл четыре магазина, подчёркивая добычу прямо в книжке. В конце концов нашёл всё.

Сама стряпня заняла почти семь часов – с одиннадцати до половины шестого. Я мог бы развести здесь комедию положений на много страниц о том, как это происходило, но не буду – из уважения к читателю. Достаточно сказать, что я запарол и Филифьонкины кексы, и картофельную запеканку. Даже из супа Снусмумрика получилась клейкая бодяга. Короче, с первого раза удался только фруктовый салат.

Пришлось менять планы и повторно бежать в магазин. В итоге я приготовил «Оладьи от муми-троллей» вместо кексов и «Перчёные спагетти Крошки Мю» вместо запеканки. Вместо походного супа Снусмумрика взялся было за «Созерцательный суп Снусмумрика», но разварил рис и пережарил морковку с луком. Был уже пятый час, параллельно я замешивал оладьи, причём в третий раз, и начинал слезливо материться от фрустрации. Решил обойтись без супа.

За полевым букетиком к метро тоже не сбегал – боялся не успеть. Надо было накрывать на стол. Чистой скатерти я не нашёл, вытащил какую-то пёструю простыню из антресоли, сложил вдвое, постелил. Думал, она хозяйская, не наша. Думал: аккуратненько поедим, постираем, запихнём на место – никто не умрёт.

Без двадцати шесть я переоделся. Пока стаскивал штаны, заляпанные жиром и приставшей к жиру мукой, вспомнил про злосчастный передник с муми-семейством. Долго искал его на кухне, в шкафах, в кладовке. Чудом догадался заглянуть в муми-сундук под кроватью. Передник лежал там, бережно свёрнутый, между книгами слева и книгами справа. Сейчас не могу вспоминать об этом без комка в горле. А тогда я торопился. Достал, напялил для полноты картины.

Засунул в проигрыватель Бет Ортон. Первый попавшийся альбом.

Когда в замке залязгали Ларины ключи, я выскочил в прихожую и застыл в исходной позиции. Чувства я в тот момент испытывал сложные. Валился с ног от усталости, хотел есть, ненавидел Машу Столбняк и предвкушал реакцию Лары.

Реакция могла быть только одна: безоговорочный экстаз в момент пересечения порога. Иначе выходило, что я мучился зря. Только Ларино счастье могло искупить мои страдания.

– Привет! – сказала Лара, увидев меня в прихожей. – Ты уже дома.

Я загадочно улыбался.

Лара вошла, закрыла дверь и не глядя повесила сумку на крючок.

– Ты приготовил что-то? – она принохалась. Поставила пакет с продуктами на пол у стены. – И вправду приготовил... А тебе идёт, – она скинула с ног вышитые тапки. Перевела взгляд с муми-передника на моё лицо. – Ну, колись. Чего ты весь такой сияющий?

– С днём рождения муми-мамы! – взорвался я. – Добро пожаловать к праздничному столу!

Лара посмотрела на меня с жалобным недоумением.

– К праздничному столу?.. – переспросила она ещё тише, чем обычно.

В моей голове брызнуло прокисшее шампанское. Она не помнит! Я помню, а она не помнит!

– Ну как же, – сказал я. – Сегодня же день рождения! Туве Янссон! Девятое августа! В честь этой знаменательной даты у нас будет эксклюзивный ужин. По личным рецептам муми-мамы!

Место жалобного недоумения на Ларином лице заняла жалобная улыбка.

– Точно... – Лара опустила глаза. – Туве Янссон... Тоже девятого августа...

– Мой руки и за стол, Ларыч! Жду тебя в комнате!

– Да-да, – она проскользнула к ванной, не коснувшись меня. – Щас-щас... Щас я приду в комнату...

В ванной она закрылась. Защелка повернулась медленно и совсем тихо – чтобы не услышал я. Сразу же зашумела вода, открытая до упора.

Я сел за накрытый стол и две с половиной песни слушал Бет Ортон в сопровождении открытого крана.

Наконец Лара вышла из ванной. Торопливо пронесла на кухню пакет с продуктами. Видимо, поставила продукты в холодильник.

– Всё, иду!

– Ура, – сказал я.

Лара показалась на пороге комнаты.

– Ого, вот это... – она явно хотела сказать «вот это да!», но что-то ей помешало. Помеха находилась на столе – Лара смотрела на него так, будто по скатерти, среди тарелок, вилок и сидра, ползали гадюки.

У неё было красное лицо. Красные припухшие глаза. Я почувствовал, как у меня внутри всё закипает – то есть не всё, а уязвлённое дерьмо, которое в таких случаях закипает. Я чуть не сказал: «Надеюсь, это были слёзы счастья». Если б не подумал про Машу Столбняк – точно бы сказал. Спасибо, Маша.

– Присаживайтесь, фрёкен.

Лара подошла к столу и села напротив меня. Улыбнулась – уже не жалобно, а жалко. Словно поняла, что помощи ждать неоткуда.

Я разлил сидр по бокалам.

– Первый тост предлагаю за именинницу! За муми-маму!

– За муми-маму, – повторила Лара.

Мы молча попили кислой зеленоватой жидкости. Я разложил по тарелкам фруктовый салат Сниффа.

– Очень вкусно, – кивнула Лара, поев криво нарезанных фруктов.

– Спасибо, – скромно сказал я.

На диске Бет Ортон тем временем кончилась песня. Началась другая – та, от которой хочется плакать, даже когда плакать совершенно не хочется. Лара её так и называла: «плач Ярославны со свистульками».

На первом же такте Лара положила руку с вилок на стол. Повернула голову к окну. Пока не начались слова, она крепилась с открытыми глазами. На первой строчке зажмурилась. На четвёртой или пятой закусила губу.

– Извини... – сказала она, разлепив веки, из-под которых тут же хлынули слёзы. – Извини, Саша...

Я, к счастью, молчал. В тот момент я ненавидел её больше, чем Машу Столбняк. Я вообще мало кого ненавидел в этой жизни, как Лару в тот момент.

– И-и-звини... – она отпустила вилок и стала вытирать слёзы пальцами обеих рук. Я великодушно поднялся со стула. Щедро принёс из спальни бумажные салфетки.

– С-спасибо...

Я молча сел обратно на стул.

– Прости, Саша, – сказала Лара, использовав две салфетки. – Я не могу.

– Чего ты не можешь?

– Праздновать, – она шмыгнула носом. – День рожденья муми-мамы. Я понимаю, ты хотел как лучше. Чтобы я отвлеклась. Я вижу, как ты старался. Но я... Мне... – её плечи задёргались. Лицо перекошилось. Голос внезапно стал громче. – Мне-не-по-мо-га-ет... Я сижу и ду-думаю, как Фи-филифьонка накрыла стол на у-у-улице... Как суп покры-ы-ылся плёнкой от ве-е-етра...

Здесь надо пояснить для тех, кто не читал «В конце ноября». Это последняя книга про муми-троллей. Сюжет такой: счастливая муми-семья куда-то уехала, её дом стоит пустой и безжизненный, туда стягиваются всякие нервные личности, живущие по соседству, и тшятся подменить собой хозяев. Филифьонка, к примеру, хочет быть муми-мамой. Надо, объявляет она, жить спонтанно и делать то, что хочется! И накрывает стол на улице. А на улице ноябрь, холодный ветер, суп сразу стынет, и все сидят злые и обиженные друг на друга.

– Хо-хо-хомса Тофт под стол залез... – Лара обхватила себя за плечи. Наклонила голову. Каштановые кудряшки затряслись над недоеденным фруктовым салатом Сниффа. – А Мюмла гово-ворит: «Чтобы стать Му-му-муми-мамой, ма-ма-мало вытащить стол на у-у-у-у...» – слово «улица» так и пропало. – Никто... Ни-ни-никто не может заменить муми-маму... Никто не может за-а-а-амениить маму...

Я оцепенел от ужаса. Такой ужас часто бывает во сне, но там всегда просыпаешься, а тут просыпаться было некуда. Не было никакой доступной реальности, в которой я не являлся бы мудаком. Не было выхода в чудесный параллельный мир, где я не забыл, что ровно десять лет назад, в середине девяностых, девятого августа, в гатчинской больнице умерла Ларина мама.

– Извини, Ларыч, – соврал я.

Чтобы извиниться и не соврать, надо было признаться. Сказать, что я забыл. Объяснить, что она опять, чёрт знает в какой раз, слишком хорошо обо мне подумала.

– Я хотел как лучше, – соврал я – уже наглей, её же словами. – Думал, ты отвлечёшься... Извини...

Лара подняла голову. Я опустил глаза. Смотреть прямо на неё – это было выше моих силёнок.

– Ничего, – сказала она. – Идея была хорошая... Наверно, простыня всё испортила, – она провела кончиками пальцев по пёстрой ткани, которую я нарыл в антресоли. – Это мамина простыня. Видишь, как она сшита из разных кусочков? Из двенадцати кусочков. Можно посчитать, когда развернём. Это мама мне сшила на двенадцать лет. На день рождения.

Я хотел сказать чистую правду («Я не знал, Ларыч»), но не смог её выговорить. Чтобы сказать правду и не соврать, надо было сначала признаться. Несколько минут мы просто сидели за столом. Лара улыбалась дрожащими губами и гладила разные кусочки простыни – ладонью, пальцами, снова ладонью. Под окном кто-то никак не мог припарковаться. Бет Ортон пела последнюю песню на диске.

Когда она допела, Лара спросила, что у нас на второе.

2014



Неутолимый Джо

Одна была красивей, но уникальней не было никого. Ты бросалась в меня носками, шерстяными и дырявыми, от смеха и близости Нового года. Кто ещё бросал в меня носки? Другие швырялись подушками, расчёсками, кружкой, курткой, черновиком дипломной работы по социологии. От злости. Всё как у всех.

Даже уехала ты в Париж. Другие уезжали в Лугу, Череповец и, скажу без ложной скромности, Сочи. А также в Купчино, на последнем трамвае. И постепенно выяснялось, что туда им всем и дорога. Ты же испарилась прямо в Париж, прямо из Тихвина. На самом интересном месте. Из самой гущи положительно заряженного, булькающего от ожиданий киселя, в котором я вдохновенно барахтался.

Самый корявый почерк безусловно у тебя. За жизни всех не ручаюсь, но в моей жизни закономерность такая: чем кривее почерк, тем умнее женщина. Твой без обстоятельной тренировки читать невозможно.

В Тихвине, конечно же, есть шкаф, в котором лежит журнал «Огонёк», сорок восьмой номер за девяносто четвёртый год. Старательно заваленный другой увядшей периодикой и стереомагнитофоном «Весна», чтоб наверняка. Но даже если его найдут, даже если его в сто первый раз оттуда втихую вытащу я, ничего всё равно не прояснится, потому что пять с половиной строчек поперёк жанровой фотографии на странице семь ты написала по-французски. Ещё тогда я раскопал в словарях и учебниках все *je t'aime, je t'aime bien* и *tu me plais*; я водил лупой туда и обратно, тщетно пытаюсь угадать очертания перечисленных фраз в твоих каракулях. Там вроде бы есть *bien*, и точно есть три *je*. Я снимал ксерокопии и носил их в карманах, чтобы встретить знателей французского языка во всеоружии. Но они не понимали твой почерк. Они смущённо пожимали плечами.

Твоё международное имя не находят поисковые системы. Ни кириллицей, ни латиницей. Вконтакте и вфэйсбуке нет твоей страницы. Всех остальных я там нашёл легко и поголовно. Я лицезрел их пухлых детей и мужей, неприкрытых настройками приватности. Снисходительно читал списки любимых фильмов и телепередач. Малодушно вглядывался, чтобы увидеть, как все потускнели не меньше, чем я. И о да, они все потускнели, они все стали матовыми. Все лоснятся и тлеют. Пусть и не все так же кардинально, как я. Только ты, как вчера выяснилось, изменилась другим способом. Мне, по крайней мере, кажется.

Мне вечно кажется. И в этой связи самое главное. Не нашёл в себе храбрости рассказать вчера.

Только из-за тебя я сошёл с ума.

Ээээ, с чего бы начать, чтобы не сразу потянуло кривиться, ёрзать на стуле и бормотать «я тебя убью» (затыкая собственный стыд, в пустой комнате).

Ну хорошо. С третьего января. Тебе исполнялось 17. В твоей квартире ели торт и опохмелялись новогодние родственники по материнской линии. Приехавшая в гости тётя Анн-Софи, 23-х лет, сидела с краю, уже не делая вид, что слушает общение родственников. Её перетасили в твою комнату. Там пахло прокисшим шампанским и задутыми свечами. На окне запылилась электрическая гирлянда советского производства.

Были приглашены мальчики и девочки, по четыре штуки, но мальчиков пришло только двое, потому что Шафранов Боря накануне загремел в больницу с алкогольным отравлением, а что помешало Никите из твоей 8-ой школы, я не помню, но помню, что был очень, очень рад не бледнеть на фоне его плеч и самоуверенности. В отсутствие Никиты моим фоном остался добрый Костик со своей гитарой и вьющимися усиками. Костик не представлял никакой угрозы, тем более ему так и не дали поиграть на гитаре – ты без конца ставила нам завораживающие французские группы от тёти Анн-Софи. Группы с длинными названиями. Время

от времени ты говорила нам, о чём они там поют, и девочки восхищались и завистливо мяли свои ладони, и в энный раз восклицали «ой Полинка, какая же ты счастливая!»

И хочется сказать так сказать («мы пришли на твой день рожденья из утыканного ларьками города на краю бездарно растянутой страны...»), но ведь я не пришёл на твой день рождения – я приехал из Питера, впритык, не забежав домой. Минуты две вытирал снегом несвежее лицо, прежде чем подойти к твоему подъезду. Я проболтался в Питере сутки, ночевал у отцовского друга, подполковника Казакова, от которого меня уже тогда тошнило. Ему и родителям наврал про дистанционные подготовительные курсы. Что типа приём документов с третьего числа. Тебе и гостям наврал про ночной панк-фестиваль в модном клубе. Себе не смог соврать ничего внятного, изнутри всё выглядело неожиданно и неуправляемо, но на самом деле мне хотелось разбега. Я был убеждён, что собираюсь прыгать выше своей головы и что плюхнусь на землю, мешком или Костиком на физре, но перед прыжком положено разбегаться.

Наверное, если бы я разбежался из Парижа или незабвенного города-побратима Эрувиль (-Сен-Клер), я прыгнул бы повыше. Наверное, не сошёл бы с ума. Но я разбегался вдоль Обводного канала. Подполковник Казаков живёт рядом с Балтийским вокзалом. Я прошёлся от его квартиры до автовокзала прямо по самой суицидальной набережной в известном мне мире, жмурясь от вонючего сырого воздуха.

Кассету с Джо Дассеном купил в жестяном ларьке у Варшавского:

– А можно Джо Дассена?

– ... Какого?

– Зе бест оф. Седьмой снизу, в последней стопке. Я покажу шас.

– ... Две семьсот.

В автобусе была депрессия, духота и бабушка с гигантским задом. Зад вдавливал меня в обмороженное окно с выдранный резиновой окантовкой. Мудак, сидевший впереди, пил пиво и бил меня по коленям спинкой своего кресла. Я прослушал зе бест оф Джо Дассен два с половиной раза, и когда в плеере сели батарейки, сдёрнул с головы наушники и уткнулся лбом в стекло. Было муторно и как-то стыдно от того, что я не понимаю, о чём он.

Я звонил в твою дверь с горящим от снега лицом. Всё ещё было муторно и стыдно. Хотелось сказать, что я люблю тебя. Потом резко развернуться и убежать.

Но ты перебила меня. Сказала, что рада видеть.

А поникший Костик ушёл первым, бормоча тебе что-то нелепое на прощанье. Девчонки сидели долго, до половины двенадцатого. Тётя Анн-Софи пьянела и рассказывала о своих подругах и личной жизни с экторами и этьенами, и ты ехидно переводила, а ближе к концу девчонки бросились обсуждать ту учительницу из 6-ой школы, которая нашла мужа через русско-французскую дружбу и вознеслась из Тихвина в город Эрувиль (-Сен-Клер). Вслед за ней, естественно, вспомнился самый первый автобус с французами в 89-м, и оказалось, что никто из нас, собственно, не был в тот день на площади – кроме меня.

Я поднатужился и увидел перед собой всю историческую сцену: невиданный автобус на краю площади, высокий и пёстрый, с экзотической дверью посередине; вокруг автобуса – тихая от неловкости толпа с местной администрацией и твоим угрюмым отцом во главе (каравай с солонкой, правда, не приволокли); внутри автобуса – озадаченные иностранные лица, не ожидавшие массовой встречи прямо в центре города.

(Как твой отец прожил среди нас столько лет? Зачем он тогда приехал? Как он мог купиться на наш гнилой базар о справедливости и строительстве рая на земле?)

Пока глава делегации знакомилась с секретарём горкома, мы тарачились на французов. Они тарачились в ответ. Мама и тётя Марина вполголоса обсуждали платье главы делегации. Больше я вроде ничего и не помнил, но участие фантазии помогло мне описать явление французов Тихвину так, что девчонки, слышавшие всю эту историю по сто двадцать раз, хохотали до коликов. Даже ты смеялась, пересказывая мою речь Анн-Софи. Сквозь мой развя-

занный язык было слышно, как твои слова переливаются всеми цветами видимой части спектра. Я заводился ещё сильнее, и через несколько минут такого вдохновения с обратной связью мне приоткрылось, как может чувствовать себя непризнанный гений, внезапно переведённый и изданный на всех основных наречиях мира плюс на венгерском и эсперанто.

В общем, я ушёл последним, без двадцати час. Анн-Софи уже сопела на сложенном диване. Разошлись даже родственники по материнской линии. Только твой отец пожал мне руку в прихожей и своим мягким акцентом пожелал удачи в новом году. И ты чмокнула меня в скулу на лестничной площадке. Сказала зайти завтра, на продолжение доедания праздничной еды.

Так – с твоих же вчерашних слов – мы стали «большими друзьями». И оставались большими друзьями до твоих досрочных экзаменов и отъезда. До мая, то есть.

Вчера я обронил очень вскользь, что вылетел из первого вуза после первой же сессии. Ты вежливо не спросила, почему. Сейчас я объясню, почему. Сейчас я объясню.

Ты помнишь, что я провожал тебя. Сказала, что помнишь. Я отошёл от заплёванного зелёного вокзала на три минуты раньше твоего автобуса. Пересекая площадь, думал о том, с каким упругим достоинством я её пересекаю. В моей голове существовала вероятность, что ты каким-то образом посмотришь мне вслед. Сквозь моросивший дождь. Потом я побежал по Красной линии, вначале тоже с достоинством. Представлял, что бегу по экрану MTV, в видеоклипе. Бежал до самой больницы. Когда свернул в свои дворы, задыхался и гнулся от боли в боку.

Дома стащил с себя мокрую одежду. Выпил воды из чайника, сунул кассету в магнитофон, уселся в трусах на кухонный стол и закачался взад-вперёд. Никто ещё не пришёл с работы – ни сестра, ни родители. За окном висели мокрые листья черёмухи, как обычно.

Ту кассету я, естественно, позже выкинул, но забыть список песен уже не получится. Первая там была *Il faut naïtre à Monaco* – быстрая, развесёлая, дурацкая, коротенькая. Бессмысленная. Так и оставшаяся неперевождённой и бессмысленной. Перевод начался с *L'équipe à Jojo*, второй по списку.

Видеофильмы, если верить моей памяти, переводили два главных гнуса: Классический Гнус и Другой Гнус, который был менее гнусав и завораживал не так сильно. Может, гнусов больше было на самом деле, но я вычленил только этих двоих. Предпочитал Классического. Говорили, что он непревзойдённый ас. Он так выдавливал из себя слова, что каждое слово выходило на вес золота.

Когда началась *L'équipe à Jojo*, я сразу же заплакал – от того, что ты уехала, и от предвкушения, потому что это была моя любимая песня с самого начала, и я помню, как услышал первое гнусавое слово уже с мокрыми глазами, в расплывающейся кухне, на второй или третьей строчке текста. Само слово не помню. Что он говорил дальше, тоже не помню. Он каждый раз переводил мне по-новому, я помню отрывки других переводов, хотя они и слиплись теперь в застоявшийся серый клейстер. Но тогда каждый перевод звучал трагично и упоительно, каждый был откровением, и я, ты понимаешь, я гонял эту кассету снова и снова, месяц за месяцем, как та крыса, которой вставили провод в центр удовольствия и сунули под нос кнопку, пускающую по проводу ток. Она долбила кнопку, пока не сдохла от истощения. Мне не дали сдохнуть, но я уже слишком забежал вперёд, извини меня.

Третьим шёл главный хит некоторых времён и народов. *Et si tu n'existais pas*. Я уже перестал качаться взад-вперёд. Только трясся и смотрел на магнитофон, зажав ладонью рот, чтобы не завопить, ещё! пожалуйста ещё! гнус родной переведи мне ещё!

Он заговорил с середины первой строчки, и совсем не про если б не было тебя (у него даже в песне про Елисейские поля никогда не было никаких елисейских полей и никаких механических пианино в песне про механическое пианино), но меня это совершенно не разочаровало. Я не сомневался ни секунды, что Гнус переводит мне настоящее значение этих

песен, а не то, что в них там для маскировки говорится на французском языке. По-настоящему в *Et si tu n'existais pas* пелось про маленького мальчика. Это был единственный перевод, который позже повторялся несколько раз, даже много раз, с небольшими вариациями, и плюс я несколько раз пересказывал его психиатрам. И всё равно теперь ни фи́га не помню его последовательно. Всё в кучу: маленький мальчик – пыльная улица без конца и начала – большие-большие глаза – мёртвая женщина в мамином платье – поезд (куда-то с нерусским названием) – асфальт в трещинах – хромая собака, бегущая сзади – соседский мальчишка показывал пальцем – папа (куда-то не приехал) – весна прошла мимо (или оборвалась) – пивные пробки – люпины. Ещё кое-какие детали. Похоже на особенно бездарный сон. Но я просто захлёбывался слезами под конец – настолько оно было гнусаво, вкрадчиво, душераздирающе, в самую центральную точку. Я чуть не прокусил себе ладонь, которой зажимал рот.

Каждый раз Гнус переводил хотя бы три песни про тебя, точнее, про мир, в котором есть ты. Там всегда происходили события: аварии, праздники, войны, возвращения из дальних плаваний, выпускные, Чернобыль, неизлечимые болезни, серебряные свадьбы – всё это происходило, а ты при этом была где-то. От наличия в мире тебя всё приобретало бездонный смысл и таинственность, и надлом. Гнус редко называл тебя по имени, обычно он просто говорил «ты» («ты не ждёшь»), но было очевидно, что это не Гнус обращается ко мне, а настоящий Джо Дассен – к тебе, а я, ну, просто подслушиваю, такая у меня привилегия, такая пытка романтическая. Чаще всего про тебя пелось в *Chanson triste*, *C'est la nuit* и *L'été indien*. Особенно в *L'été indien*.

Когда кончилась вторая сторона кассеты, я заметил, что мне ужасно холодно. Нос был полон соплей. Сопли текли по подбородку. Я вытер их тряпкой для стола. Побежал в комнату за отцовским мохеровым халатом. Из Наташкиной комнаты притащил сигарет.

Я перевернул кассету. Включил магнитофон, снова сел на стол и закурил. *Il faut naître à Monaco* опять осталась без перевода. На первом аккорде *L'équipe à Jojo* я чуть не умер, но Гнус своевременно вернулся, начал переводить, всё так же трагично и упоительно, а через минуту после Гнуса домой вернулась Наташка, и когда она показалась в дверях кухни и что-то сказала, Гнус умолк, и я швырнул в неё сигарету, обозвал «сухой», орал что-то ещё, а потом закрылся в своей комнате.

Сразу изменились две вещи: 1) я стал курить открыто и в несколько раз больше; 2) я стал слушать Джо и Гнуса каждый день, в наушниках, иногда по три раза подряд. Остальное изменилось постепенно. Учёба уже года полтора вызывала у меня брезгливость, но мгновенно тупеть и погружаться в апатию при мысли о занятиях я стал только к середине осени. Поэтому школу закончил без особых затруднений. Летом поступил в Техноложку. Ходил на лекции. Конспектировал что-то поначалу. До первых семинарских занятий даже дошёл.

Первая большая проблема возникла с общагой. У меня больше не было своей комнаты, у меня были два общительных соседа, а Гнус не переводил мне ничего в присутствии других людей. Первые дни сентября я просто никуда не выходил по вечерам. Дожидался, пока соседи свалят пить пиво или ходить по комнатам девчонок. Как только сваливали, я напяливал наушники и открывал для вида книжку.

Через неделю соседи начали прикалываться. Они возвращались в районе полуночи, запроваженные пивом, и гогоча обсуждали причины моего отрыва от коллектива. Излюбленная версия была такая: я не вылезая из комнаты, чтобы побольше дрончить. Да ты не стесняйся своих-то, по-отечески говорил мне Юрий из Вологды, дрони ночью, если припрёт, мы отвернёмся. А вечером оттягивайся, как человек. Мы же студенты! Лучшее время жизни! Да и ваще, с девчонками надо знакомиться, добавлял Валера из Приозерска. Самое смешное в этой ситуации было то, что с момента появления Гнуса дрончить я почти перестал. Не оставалось сил.

Чтобы они как-то заткнулись, я стал пить с ними пиво по вечерам и перестал ходить на пары по утрам. Я забил не на всё сразу, пропускал только по одной-две лекции через день:

первую и/или последнюю. Даже составил себе график прогулов, равномерно распределявший забытые пары по всем предметам, но придерживаться этого графика уже не сумел. Более того, жертвы и ухищрения пошли прахом, потому что от пива мне то и дело хотелось рыдать и съездить Юрику по морде, лучше всего коленом, и, пока мои мозги ещё как-то работали, я убирался в комнату, тем более, что Джо и Гнусу мне после пива хотелось сильнее всего остального.

А в один из пивных вечеров, прямо в окружении Юрика, Валеры, каких-то других парней и трёх девчонок с моего потока, я объявил, что моя девушка, самая лучшая на свете и самая франкоговорящая, навсегда уехала в Париж, но я всегда, всегда буду любить её, а вы все пошли на хуй. Кто-то из парней громко обиделся, но остальные зааплодировали, и из Ромы меня тут же сделали Романтиком. Эй, Романтик! с тех пор полуночно приветствовал меня Юрик. Какой рукой сегодня? Что пишут из Франции?

В общем, можешь представить, почему я тебе не писал.

Вторая большая проблема возникла с общагой же. Меня из неё выселили за курение в комнате. Курить там было запрещено в принципе, но если не слишком нагло и не во время проверки, то можно. Меня предупредили о проверке – и Юрик, и Валера, и девчонки из комнат слева и справа – и я понимающе кивал и благодарил всех, но я уже не замечал, курю или нет, и сунул в рот сигарету, как только остался один. Когда проверка заглянула в дверь, я лежал на кровати со слезами на глазах, сигаретой в зубах и наушниками на голове. В тарелке с недоеденными макаронами громоздились окурки. Я плакал от бесконечного счастья. В тот день Гнус наконец сжалился надо мной и в первый раз перевёл другой альбом Джо Дассена.

Счастье оборвалось, как весна того маленького мальчика. На несколько дней я переехал к подполковнику Казакову. Наверное, от того, что я так сильно ненавидел Казакова и постоянно чувял нутром его присутствие, даже когда его не было дома, Гнус ни разу не явился мне в его квартире.

Представь это мерзкое ощущение, этот зуд, когда сломан компьютер, или болеет ребёнок, или поссорилась с мужем или родителями, представь это чувство занозы во всём на свете – представь, что оно в сто раз сильней, чем обычно, и ты получишь то, что я чувствовал те несколько дней, пока жил у Казакова. Я уходил утром на лекции, да, но я вообще ни о чём не мог думать, кроме того, что Гнус молчит, что он больше не переводит мне о мире и о тебе.

Я как-то помнил ещё, что в ближайшие выходные поеду в Тихвин получать невообразимый нагоняй от отца и даже матери, и мне было, в общем, наплевать на любые нагоняи, потому что после них я мог запереться у себя в комнате и попытаться вернуть Гнуса. Но в четверг я не выдержал. Вместо лекций я поехал искать уединения, долго искал его и часам к двум дня оказался на Каменном острове.

Какое-то время я бродил среди деревьев, периодически останавливаясь и тщетно включая плеер. Погода была отвратительная – весь день шёл мокрый снег. В конце концов я промок и продрог настолько, что заметил это. И сигареты кончились. Я вышел на ближайшую дорожку и похлопал к проспекту. Уже с проспекта увидел, что двери церкви открыты. Не уверен, знаешь ли ты: там маленькая церковь у моста, относительно симпатичная. Я пошёл в неё, чтобы согреться.

Людей внутри было совсем немного. Семья из родителей, бабушки и младенца. Священник, который этого младенца крестил. Помощник священника – молодой дьякон в круглых очках. Три-четыре женщины чуть в стороне от таинства крещения. И высокий старик в аккуратной телогрейке, продававший свечи, иконки и брошюры. Младенца как раз окунали, и он орал во всю глотку. Помню, что бабушка суетливо конфузилась и пыталась приструнить его, мешая священнику. Я ещё подумал, что, наверное, орал точно так же, когда моя бабушка носила крестить меня. Тайком от отца.

В церкви было тепло и пахло, ну, ты знаешь – церковью. Я пришёл в себя немного. Стал рассматривать иконы.

Сделав круг, остановился у старика со свечками:

– А можно свечку?

– ... Какую?

Там были маленькие и побольше.

– Большую.

– Триста рублей.

Старик взял у меня три голубых фантика, не глядя в мою сторону. Он вообще посмотрел на меня только один раз, в самом начале. Я взял одну большую свечку из банки и спросил, куда её ставить.

– Туда, – старик пошевелил локтем в нужном направлении.

– А, ну да, точно.

Свечи горели слева от таинства крещения, подходившего к концу. Пока мать закутывала младенца во что-то без церковной символики, бабушка застенчиво обменивалась любезностями со священником. Отец мялся чуть в стороне, с чёрной кепкой в руках и чувством долга на лице. Я нерешительно помялся рядом с ним, потом сделал ещё несколько шагов и зажёл свою свечку от одной из горевших. Щедро покапал воском. Установив свечку, отступил на шаг назад. Я не знал, как молиться. Невольно уставился на пламя свечки и зашевелил губами: Господи, верни мне его, Господи, верни мне его, Господи, пожалуйста, верни мне его, я не могу без него, Господи – и т. д., без особых вариаций, сколько-то минут, по истечении которых мои ноги подкосились и я рухнул на колени и залился слезами благодарности, потому что услышал ответ.

Гнус заговорил со мной прямо там, прямо в церкви, без Джо Дассена. Он переводил мне слова дьякона – тот подошёл, пока я молился на свечку, и участливо спросил, не нужна ли мне помощь. Спросил, естественно, по-русски, вполне членораздельно и понятно, но Гнус открыл мне настоящий смысл его слов: не бойся, Господь слышит, он не бросит тебя одного, он будет с тобой всегда.

Постепенно я встал с колен и вышел из церкви, ничего не ответив дьякону и вообще никого не замечая. Не помню, как добирался до квартиры Казакова. Не помню, как ездил в Тихвин в те выходные. Со слов родителей знаю, что, приехав домой, я почти ничего не говорил, только про то, как ненавижу Казакова. Улыбался в ответ на упрёки и ругань. Снова называл Наташку «сукой» – но без злости, словно констатировал факт.

Тогда им первый раз пришло в голову, что со мной не всё в порядке и, может быть, стоит оставить меня в Тихвине и показать врачу, но, судя по всему, к воскресенью у меня в голове немного прояснилось. Отец спросил, обещаю ли я взяться за ум, если они снимут мне комнату. Я пообещал не пропускать больше ни одной лекции, поклялся меньше курить, и даже попросил у всех прощения, особенно у Наташки, и отец испытал такое чувство облегчения, что сам отвёз меня в Питер на своей копейке и через Казакова нашёл мне комнату в коммуналке на 12-ой Красноармейской.

После переезда на Красноармейскую я действительно несколько раз сходил на занятия. Последний раз появился в институте в начале декабря. Конечно, Гнус теперь был всегда со мной и переводил почти всё, что мне говорили, в любой ситуации, но у меня не было стимула куда-то ходить, потому что в комнате стоял чёрно-белый телевизор с комнатной антенной и четырьмя программами, и Гнус переводил мне каждую из них, лишь иногда прерываясь на рекламу. Сокурсники, преподаватели, соседи по коммуналке и все участники всех телепередач, все герои всех фильмов на самом деле говорили только о том, что Бог никогда не оставит меня, только о смысле жизни, о смерти, о Вселенной и о тебе где-то в этой Вселенной, всегда трагично и упоительно, всегда почти до слёз, и у меня не было повода никуда выходить из этой комнаты, кроме туалета и продуктового магазина, хотя к середине декабря я перестал ходить и за продуктами, перестал мыться, выбегал из комнаты только для того, чтобы попить воды из-

под крана и поссать, всё остальное время я слушал четыре кассеты Джо Дассена, смотрел телевизор и молился, без конца повторяя одни и те же слова благодарности, без конца умоляя Бога и Гнуса никогда не оставлять меня, и таким образом я умудрился дожить до двадцать седьмого декабря, когда приехал отец, а вскоре вслед за ним – пресловутые люди в белых халатах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.